
Ника Норд
Клятва на крови

Ника Норд
Клятва на крови

https://litres.ru/74729744
SelfPub; 2026

Аннотация

Он наследник Дома, чьи люди убили её брата. Она безродная выскочка, которую он презирает с первого взгляда. Совет связал их клятвой на крови: если он умрёт, умрёт и она. Ненавидеть друг друга им никто не запрещал. Беда в том, что клятва делит между ними всё, и боль, и желание.

Тёмное романтическое фэнтези, от врагов к любовникам.

Ника Норд
Клятва на крови

Глава 1

Аннотация

Он наследник Дома, чьи люди убили её брата. Она безродная выскочка, которую он презирает с первого взгляда. Совет связал их клятвой на крови: если он умрёт, умрёт и она. Ненавидеть друг друга им никто не запрещал. Беда в том, что клятва делит между ними всё, и боль, и желание.

Тёмное романтическое фэнтези, от врагов к любовникам. 18+.

Глава 1. Выпускной бал

Платье Мира взяла напрокат у старьёвщицы с Канатной улицы, и пахло оно чужими духами и нафталином. Тёмно-зелёный шёлк когда-то был дорогим. Теперь на подоле темнело пятно, которое не отстиралось, и Мира весь вечер держала юбку так, чтобы складка его прятала.

Бальный зал Коллегии сиял. Под потолком висели сотни магических огней, и каждый горел цветом какого-нибудь Дома: золото Арденов, багровый Морвенов, серебро Дэллей. Синего пламени Вейров было больше, чем любого другого. Им не нужно было ничего доказывать, но они всё равно доказывали. По легенде, такими же цветами горели осколки Сердца, звезды, которая тысячу лет назад упала на Чёрные скалы, и каждый из двенадцати основателей Домов унёс себе свой.

— Не стой у стены, как прислуга, — сказала Тесса и сунула ей бокал. — Ты сегодня получила золотую печать. Единственная за десять лет. Пусть они смотрят.

— Они и смотрят, — ответила Мира. — Как на собаку, которая встала на задние лапы.

Тесса фыркнула, но спорить не стала. Её саму взяли в Коллегию по квоте для дочерей торговцев, и она знала, о чём говорит подруга. Через месяц обеих распределят по Домам. Через месяц Мира станет чьей-то собственностью с золотой

печатью на дипломе, и печать эта будет значить ровно одно: за неё дадут больше.

Как это выглядит, Мира уже видела. Выпускники прошлых лет приходили на бал в серебряных браслетах с гербами своих Домов и держали руку так, чтобы браслет не бросался в глаза. Снять его без разрешения хозяина было нельзя. Все делали вид, что это просто знак отличия.

Она сделала глоток. Вино оказалось кислым.

По залу прошёл шёпот, и Мира поняла, кто вошёл, раньше, чем подняла глаза. Так шептались только об одном человеке.

Кассиан Вейр не учился в Коллегии, ему это было не нужно: наследников Домов учили дома, лучшие мастера империи. Но Дом Вейр держал попечительство над выпускным балом, и кто-то из Вейров обязан был прийти. Обычно приходил старый лорд Торвальд. В этом году прислали сына.

Он был в чёрном, без единого украшения, если не считать перстня с синим камнем. Высокий, с тёмными волосами, небрежно отброшенными со лба, и лицом, которое казалось бы красивым, если бы не выражение скуки на нём. Он шёл через зал, и люди расступались, словно боялись случайно его коснуться.

Мира отвернулась. Смотреть на Вейров её не учили, её учили их ненавидеть, и с этим у неё всегда получалось лучше.

— Говорят, он не прикасается к людям, — шепнула Тесса.

— Совсем. Даже перчаток не снимает.

— Бережёт руки для чего-то важного. Например, для подписания смертных приговоров.

— Мира!

— Что? Это семейное.

Она сказала это слишком громко. Мира поняла это по тому, как замолчали люди рядом, и по тому, как медленно, очень медленно Кассиан Вейр повернул голову.

Он стоял в трёх шагах. Она не заметила, когда он оказался так близко.

Глаза у него были светлые, почти прозрачные, серо-голубые, как лёд на зимнем море. Он смотрел на неё долго, сверху вниз, и Мира чувствовала, как этот взгляд проходит по ней: по старому платью, по пятну на подоле, которое она больше не прятала, по рукам без перчаток, по шее без единой нитки жемчуга.

— Это и есть золотая печать? — спросил он. Негромко, но в тишине его слышал весь угол зала. — Я представлял её иначе.

Кто-то засмеялся. Мира почувствовала, как кровь бросается в лицо, и ненавидела себя за это.

— А я вас представляла именно так, лорд Вейр, — сказала она. — Хорошо, когда ожидания оправдываются.

Смех оборвался. Тесса сжала её локоть так, что стало больно.

Кассиан чуть приподнял бровь. Других признаков, что он

услышал, не было.

— Как вас зовут?

— Вы же знаете. Моё имя сегодня трижды объявили со сцены.

— Я не слушал. — Он сделал шаг ближе, и теперь Мира чувствовала запах его одежды, холодный, с горечью полыни. — Пустокровых каждый год награждают. Это трогательная традиция, вроде того, как хвалят собаку, которая принесла палку. Имена собак я тоже не запоминаю.

Она хотела выплеснуть ему в лицо вино. Пальцы уже сжались на бокале, и Мира знала, чем это кончится: тюрьмой для неё, разорением для отца, тем, что её имя вычеркнут из списков, будто никакой золотой печати и не было. Поэтому она улыбнулась.

— Мира Остен, — сказала она. — Запомните, лорд Вейр. Собаки иногда кусаются.

Что-то мелькнуло в его глазах. Не гнев и не удивление, что-то быстрое, острое, будто она задела нерв. Потом он отвернулся, словно её не было, и пошёл дальше через расступающуюся толпу.

Мира поставила бокал на поднос проходящего слуги. Руки у неё дрожали.

— Ты сумасшедшая, — выдохнула Тесса. — Ты понимаешь, что ты сделала? Это Вейр. Это Вейр, Мира. Через месяц нас распределяют, а Вейры сидят в комиссии…

— Понимаю.

— Он тебя уничтожит.

— Пусть попробует.

Она сказала это так, как говорят дети, когда им страшно. И ушла из зала раньше, чем Тесса успела что-то ответить.

Коридоры Коллегии ночью были тёмными и гулкими. Мира шла мимо портретов основателей, мимо аудиторий, где пять лет просидела на последней скамье, потому что первые занимали дети Домов, и перебирала в голове разговор. Собака. Палка. Он даже не запомнил её имени. Надо было сказать про перчатки. Про то, что лучшие мастера империи, видимо, забыли научить его вежливости. Нужные слова, как всегда, пришли через десять минут после того, как стали не нужны.

Злость была лучше слёз. Злость держала спину прямо и не давала дрожать подбородку, и Мира держалась за неё с четырёх лет, с той ночи, когда за Лиамом пришли люди в синих плащах. Брат смеялся за ужином. Потом стучали в дверь, потом кричала мать. Тело так и не вернули. С тех пор Мира не плакала. Она решила, что Вейры не получат от неё даже этого.

Галерея на третьем этаже выходила на море. Мира толкнула дверь на балкон, и солёный ветер ударил в лицо. Внизу, в чёрной воде, дрожали огни нижнего города. Где-то там тикали сотни часов в мастерской отца. Через месяц эта жизнь закончится, и она войдёт в чужой замок с золотой печатью на дипломе, как с биркой на ошейнике.

Звук она услышала не сразу. Тихий, сдавленный, будто

кто-то задыхался в глубине галереи, за колонной.

Здравый смысл велел уйти. В Коллегии тех, кто совал нос в чужие дела, потом находили в списках отчисленных, а иногда и в портовых сетях. Звук повторился, и в нём было столько боли, что Мира пошла на него, мысленно назвав себя дурой.

В нише, на полу, спиной к стене, сидел Кассиан Вейр.

Без камзола, рубашка распахнута. Под кожей, по рукам, по шее, по ключицам, светились синие жилы. Свет пульсировал и растекался, будто вместо крови по ним текло расплавленное стекло. Его трясло. Правой рукой он скрёб камень, оставляя выжженные полосы, левой сжимал горло, словно не давал себе закричать.

Мира остановилась в шаге. Час назад он смотрел на неё сверху вниз. Теперь всё было наоборот, и она отметила это без всякого удовольствия, что удивило её саму.

Он поднял глаза. В них был синий свет и страх, такой голый, что ей стало неловко, будто она застала его раздетым. Впрочем, почти так и было.

— Уходи, — прохрипел он.

— Час назад вы меня не замечали, лорд Вейр. Теперь гоните. Вы уж определитесь.

— Остен… Это не твоё дело.

— Надо же. Вы всё-таки запомнили имя.

Она знала про проклятие Вейров, все знали. Дар слишком сильный для человеческого тела, вода за плотиной, которая

однажды рвётся. Дед Кассиана сгорел в тридцать лет прямо за обеденным столом. Старый лорд Торвальд пил зелья, от которых у него почернели ногти. Вот, значит, как это выглядит вблизи.

Если он сгорит здесь, подумала Мира, это будет справедливо. Его отец отдал приказ, и Лиама не стало. Сын Торвальда Вейра умрёт один, на холодном полу, как собака. Он сам так любит это слово.

Она ждала, когда чувство справедливости заполнит её до краёв. Оно не приходило. Вместо него пришла мысль, что Лиам ни за что не прошёл бы мимо. Даже мимо Вейра.

Мира подобрала юбку и опустилась на колени.

— Не трогай, — сказал он. — Обожжёшься.

— Я знаю.

В десять лет, на пробе пламени в храме Сердца, жрец подержал свечу над её ладонью, и огонёк дрогнул, почти погас, а потом выровнялся. Жрец решил, что сквозняк. Искры хватило, чтобы Миру записали в Коллегию, и никто не стал смотреть, что прячется под ней.

Про свою кровь она знала с двенадцати лет. Тогда пьяный маг швырнул в неё огнём прямо в отцовской мастерской, и огонь погас у неё на ладони, как свеча на ветру. Отец закрыл ставни и очень тихо сказал: никто не должен знать. Тихую кровь Дома скупают, как редкий металл, и никто потом не спрашивает, что с этим металлом делают. Двенадцать лет Мира молчала. Ни один преподаватель Коллегии не до-

гадался.

Она взяла Кассиана Вейра за руку.

Кожа была горячей, как металл из горна. Боль прошила ладонь до локтя, и Мира стиснула зубы так, что заныла челюсть. Кричать при нём она не собиралась. А потом внутри шевельнулось что-то прохладное и тихое, как вода в глубоком колодце, и пошло навстречу жару.

Синий свет дрогнул и стал отступать с запястья, с предплечья, как прилив уходит от берега. Кассиан выдохнул, рвано и хрипло. Его пальцы вцепились в её руку почти до хруста, как утопающий хватается за верёвку.

Свет погас. Под кожей снова была кожа, бледная, мокрая от пота. Он откинул голову к стене и закрыл глаза.

Мира не отнимала руку. Вблизи он оказался совсем не страшным. Длинные ресницы, тонкий белый шрам у виска, моложе, чем казался в зале. От него пахло полынью и гарью. Обычный человек, которому только что было очень больно.

Эту мысль она выбросила из головы, пока та не пустила корни.

Потом он открыл глаза, и прохладная вода внутри неё качнулась. Мира вдруг почувствовала его: усталость, облегчение, а под ними, глубже, что-то тёмное и жадное. У неё перехватило дыхание, и жарко стало совсем не от ожога.

Кассиан посмотрел на их сцепленные руки и медленно разжал пальцы.

— Тихая кровь, — сказал он. Голос был сорванный, но

уже прежний, ледяной. — У пустокровой дочери часовщика.

— Какая неожиданность, правда? — Мира отняла руку. На ладони вздувался красный волдырь, и прятать его она не стала. — Собаки умеют не только приносить палку, лорд Вейр. Иногда они вытаскивают хозяина из воды. Благодарить не нужно. Я сделала это ради брата, вы бы его не вспомнили.

Она поднялась. Колени дрожали, и это злило её больше, чем ожог, поэтому к выходу она пошла медленно, чтобы он не заметил.

— Остен.

Она остановилась, не оборачиваясь.

— Ты понимаешь, что ты сделала? — Голос стал тише. Мира услышала, как он поднимается, держась за стену. — Мой отец узнает к утру. Я не смогу скрыть, он почувствует, что приступ прошёл слишком быстро. Тебя не распределят ни в какой Дом.

Она обернулась. Он стоял у колонны, бледный, в распахнутой рубашке, и смотрел на неё без насмешки. Это было хуже насмешки. С насмешкой она умела драться.

— А куда тогда?

Кассиан долго молчал. Внизу, в зале, играла музыка.

— Беги, — сказал он наконец. — Если есть место, где тебя не найдут, беги туда сегодня же.

Час назад он назвал её собакой при всей Коллегии. Его отец убил её брата. А теперь он говорил ей бежать, и в его голосе было что-то подозрительно похожее на заботу.

Вот за это Мира и возненавидела его по-настоящему. Унижения она складывала про запас, чтобы потом вернуть с процентами. Загадок не прощала.

— Мне некуда бежать, лорд Вейр, — сказала она ровно. — У меня отец, мастерская и золотая печать, которую вы так и не оценили. И прятаться за то, что спасла вам жизнь, я не собираюсь. Спокойной ночи. Постарайтесь не сгореть до утра, а то выйдет, что я зря испортила руку.

Она ушла не оглядываясь. Ладонь горела всю дорогу до дома, и несколько раз Мира ловила себя на том, что прижимает её к губам. Каждый раз опускала руку и ругалась вполголоса, но через квартал снова забывалась.

Отец не спал. Сквозь щели ставен в Лудильном переулке пробивался свет, и Мира ещё с угла поняла, что он сидит за верстаком, хотя обещал лечь до полуночи. Он всегда это обещал.

Внутри пахло маслом и латунью. Со всех стен тикали часы, сотня механизмов, и каждый в своём ритме. Сходились они только раз в час, когда били все разом. Мира выросла в этом звуке, и тишина в чужих домах всегда казалась ей подозрительной.

— Ну? — Отец поднял голову от лупы. — Как бал? Танцевала?

— Пила кислое вино и беседовала с аристократией. — Мира повесила шаль на гвоздь. — Аристократия была в восторге.

— Врёшь.

— Немного.

Эмиль Остен был маленьким сутулым человеком с седыми бровями и пальцами, которые дрожали всегда, кроме тех минут, когда держали механизм. Тогда они замирали намертво. Он снял лупу и посмотрел на дочь так, как смотрел на часы, принесённые в починку: внимательно, не торопясь, выискивая, где сломалось.

— Покажи руку.

Мира только теперь заметила, что прячет ладонь в складках юбки. Спорить было бесполезно. Отец взял её запястье, повернул к лампе и долго разглядывал волдырь. Потом поднял глаза.

— Кто?

— Никто. Обожглась о свечу.

— Мира. Я двенадцать лет смотрю, как от тебя гаснут свечи.

Часы тикали. За стеной кашлял во сне сосед. Мира подумала, что могла бы соврать ещё раз, и отец сделал бы вид, что поверил, потому что любил её и боялся. Но она не знала, что будет завтра, и не хотела, чтобы он узнал об этом от чужих людей.

— Вейр, — сказала она. — Кассиан Вейр. У него случился приступ в галерее, он умирал. Я взяла его за руку.

Отец отпустил её запястье и очень медленно опустился на табурет. Положил ладони на верстак, по обе стороны от

разобранного механизма, будто боялся, что тот разлетится.

— Сын Торвальда, — сказал он.

— Да.

— Ты взяла за руку сына Торвальда Вейра.

— Папа, он бы сгорел. Прямо там, на полу. Я не могла…

— Могла. — Голос у него стал тихим и чужим. — Ты могла уйти. Любой бы ушёл. Лиам бы…

Он осёкся. Имя повисло между ними, и у Миры внутри что-то сжалось. Они не произносили его годами. Мать, пока была жива, плакала от одного звука.

— Лиам бы не ушёл, — сказала Мира. — Ты сам знаешь.

Отец долго смотрел на разобранные часы. Потом взял пинцет и поставил на место крошечное колесо, которое, похоже, держал в пальцах всё это время.

— Знаю, — ответил он. — Поэтому его и нет.

Мира не нашлась с ответом. Она поцеловала отца в седую макушку, как в детстве, и поднялась к себе, в комнату под крышей, где пахло пылью и сушёной лавандой. Легла прямо в платье поверх одеяла, потому что не было сил его снимать. Внизу ещё долго горел свет, тикали часы, и отец так и не лёг.

В ту ночь ей впервые приснились синие огни. А утром в дверь мастерской постучали люди в синих плащах.

Глава 2

Глава 2. Совет Двенадцати

Стучали так, будто дверь уже была их.

Мира открыла сама. Она так и не заснула, то есть легла, но только чтобы смотреть в потолок и считать. Внизу отец ходил от верстака к окну: шесть шагов туда, шесть обратно, скрип на четвёртой половице. Двести одиннадцать раз. Потом она бросила считать, встала, умылась ледяной водой из кувшина и надела серое шерстяное платье, своё лучшее, с заштопанным локтем. Если за тобой приходят, надо хотя бы выглядеть так, будто ты их ждала. Это даже не гордость. Просто на слёзы уходит больше сил.

Их было шестеро. Синие плащи, серебряные застёжки, сапоги в рыбьей чешуе с Нижнего рынка, потому что другой дороги к Лудильному переулку нет. Старший был немолод, со шрамом через бровь, а на рукояти его меча (Мира заметила сразу и потом уже не могла развидеть) был намотан розовый детский бантик. Атласный, затёртый, явно чьей-то дочки.

— Мира Остен?

— А вы рассчитывали на кого-то ещё? — Она посмотрела на бантик. — У нас тут только я и часы.

Капитан проследил за её взглядом, и что-то у него в лице на секунду сдвинулось.

— Вас вызывает Совет Домов. Вас и вашего отца.

— Отец ни при чём.

— Отец двенадцать лет прятал тихую кровь. — Сказал он это без злобы, устало. — По закону об учёте это каторга. Так что при чём, барышня. Очень даже.

За спиной скрипнул табурет. Мира не обернулась. Она и так знала, как это выглядит: отец встал, одной рукой держится за верстак, а пальцы другой дрожат. Они у него всегда дрожат, когда в них нет пинцета. Всю жизнь Мира думала, что это от старости. И только сейчас до неё дошло, что старость тут ни при чём.

— Я пойду сама, — сказала она. — Без цепей. И он пойдёт сам. А если Совету нужна история про то, как пустокровые бросались на стражу с отвёртками, придумайте её сами. Вы, наверное, умеете.

Капитан помолчал. Потом кивнул.

— Без цепей. Карета внизу.

Карета ползла по серпантину вверх, и нижний город по частям тонул в тумане. Сначала крыши Лудильного, потом рыбный рынок, потом трубы красилен. Последней ушла под туман колокольня Святой Ирмы с её вечно отстающими часами. Отец как-то предлагал починить их даром. Настоятель отказался: отстающие часы, сказал он, учат прихожан смирению.

Наверху туман обрывался, будто его отрезали. Солнце. Белые стены. Даже воздух тут был другой, сухой, и пах не рыбой, а нагретым камнем и жасмином. Пять лет Мира подни-

малась сюда в Коллегию и каждый раз ненавидела этот жасмин. Рос он только наверху. Внизу ему не хватало солнца.

Отец всю дорогу молчал. Один раз только потянулся, взял её правую руку и перевернул ладонью кверху. Волдырь за ночь лопнул, края побурели.

— Болит?

— Болит. — Она пожала плечами. — Зато точно не приснилось.

Он не улыбнулся. Он долго смотрел на ожог и молчал.

— Что бы они ни предложили, — сказал он тихо, — не соглашайся сразу. Слышишь меня? Дома не предлагают того, что им невыгодно. Сначала цена.

— Сначала цена, — повторила Мира. — Ты мне это говорил, когда мне было шесть. Про покупательницу с собачкой, которая хвалила каминные часы, чтобы ты скинул пять монет.

— А в итоге доплатила десять. — Отец вдруг почти усмехнулся. — Потому что я не поддался.

— Я помню.

— Тогда и ты не поддавайся.

Зал Двенадцати был круглый и такой высокий, что купол пропадал в темноте. Окон не было. Под куполом висели двенадцать неподвижных огней, каждый своего цвета, и под каждым на возвышении стояло кресло с гербом. Тот, кого судили, стоял в центре, на каменной звезде, и чтобы видеть лица, должен был задирать голову. Хороший механизм, отец

бы оценил. Всё рассчитано на то, чтобы человек почувствовал себя маленьким.

Задирать голову Мира не стала. Смотрела прямо перед собой, на уровне чужих коленей и туфель. Туфли, кстати, рассказывают о людях не меньше лиц.

Туфли леди Изольды Арден, председательницы (золотой огонь), были старые, разношенные и очень дорогие. Сама леди Арден, сухая, седая и острая, как спица, вязала. Прямо на заседании Совета, не глядя, что-то длинное и серое, и спицы ровно щёлкали. Мира так растерялась, что на миг забыла, где стоит.

Туфли лорда Дэлля (серебро) были с пряжками-рыбками. Сам он, круглый и румяный, улыбался всем подряд, а глаза при этом оставались маленькими и внимательными. Молодой лорд Морвен (багровый) сидел развалившись, в сапогах для верховой езды, и что-то жевал. Запах кардамона долетал даже до центра звезды. Смотрел он на Миру так, как на ярмарке смотрят на лошадь: ну-ка, зубы покажи.

Двенадцатое кресло пустовало. Над ним висел огонь, который давно погас и стал серым, как пепел. Дом Тейн, сорок лет назад, все до одного за одну зиму. В Коллегии об этом рассказывали шёпотом и с большим удовольствием.

Под синим огнём сидел Торвальд Вейр.

Мира видела его однажды, издалека, лет пять назад, и тогда он показался ей огромным. Вблизи оказалось другое: очень худой человек, которого когда-то было больше. Ему

едва перевалило за пятьдесят, а выглядел он древним. Белые виски. Кожа, как пергамент на раме. Руки на подлокотниках и ногти чёрные, будто он копался в саже. Только сажа так ровно не ложится. И пахло от него мятой. Сильно, слишком сильно: так пахнет мятой, когда ею что-то перебивают.

Глаза у него были светлые, как у сына. У сына лёд. А у этого вода подо льдом, такая, в которую провалишься и даже не поймёшь, где верх.

Кассиан стоял за креслом отца, в чёрном, руки за спиной, и смотрел мимо неё, на звезду в полу. С таким лицом, будто ему скучно и он считает минуты до обеда.

Вчера он сидел на полу в распахнутой рубашке и держался за её руку. Она это помнила. Он, судя по лицу, решил не помнить. Ну и пожалуйста. Ей от этого даже легче стало, честное слово.

— Мира Остен, дочь Эмиля Остена, часовщика, — произнесла леди Арден, не поднимая глаз от вязанья. Голос у неё шуршал, как старая бумага. — Выпускница Коллегии. Золотая печать. Знаете, зачем вы здесь?

— Догадываюсь, миледи.

— Догадки оставьте себе. Отвечайте.

— Вчера я спасла жизнь наследнику Дома Вейр. — Мира помолчала. — Видимо, зря.

Кто-то наверху хмыкнул. Морвен засмеялся, громко и со вкусом, и подавился кардамоном. Спицы леди Арден не сбились ни на петлю.

— Вы погасили выгорание прикосновением. Так может только тихая кровь. Тихой крови по имени Мира Остен в учётных книгах Совета нет. Закон об учёте требует от семьи заявить о тихом ребёнке в течение года. Ваш отец этого не сделал.

— Отец не знал.

— Ваш отец, — мягко сказал Торвальд Вейр, и в зале сразу стало тише, даже спицы, кажется, защёлкали реже, — двенадцать лет закрывал ставни, когда у дочери гасли свечи. Не надо, дитя. Это утомительно. Для всех.

Мира медленно повернула к нему голову. Голос ласковый, тихий. Таким говорят с больными детьми. И с лошадьми, которых сейчас пристрелят.

— Откуда вы знаете про ставни, лорд Вейр?

— Я многое знаю о людях, которые мне интересны. — Он чуть наклонил голову. — Позвольте, леди Изольда. Я избавлю девочку от долгих разбирательств.

— Только быстро, — сказала Арден. — У меня рукав.

Торвальд встал. Вставал он медленно, опираясь на подлокотник, и на секунду замер. И Мира увидела, как Кассиан за его спиной дёрнулся вперёд, на полшага, не больше, и остановился. Как пёс на цепи, которого не позвали.

— Закон ясен, — сказал Торвальд. — За укрывательство тихой крови северные рудники. Десять лет, кажется? Для человека его лет и его лёгких это, боюсь, вечность. Сама девушка переходит под опеку Совета и распределяется по оче-

реди. Чья нынче очередь, Ардрик?

— Моя, — сказал Морвен и улыбнулся Мире. Зубы у него были белые и очень ровные. Слишком ровные, как у фарфоровой куклы. Или у покойника в дорогом гробу.

— Однако. — Торвальд выдержал паузу, и Мира узнала приём: так же отец держал паузу, прежде чем назвать цену. — Однако я предлагаю Совету другое. Эта девушка спасла моего сына. Дом Вейр помнит долги. Я прошу освободить её отца, вернуть ему мастерскую и забыть нарушение. А саму Миру Остен соединить с моим сыном клятвой на крови.

Тишина. Даже спицы стихли. Потом заговорили все разом.

— Клятва на крови? — Морвен выпрямился, и с его колен посыпалась кардамонная шелуха. — Её не заключали сто двадцать лет!

— Сто семнадцать.

— Да какая разница! Это обход очереди, Торвальд. Тихая кровь принадлежит Совету, а вы хотите сунуть её себе в карман под соусом из благодарности…

— Я хочу, чтобы мой сын жил. — Громче голос у Торвальда не стал, стал холоднее на несколько градусов, и Мира почувствовала это кожей. — Тебе рассказывали, как горел мой отец, Ардрик? Твой отец сидел с ним за одним столом. Он рассказывал тебе про запах?

Морвен закрыл рот. Лицо у него посерело.

— Хочешь, чтобы синее кресло стояло вот так? — То-

рвальд кивнул на пустое кресло. — Через десять лет? Через пять?

Никто не ответил.

— Закону клятва не противоречит, — прошуршала Арден, и спицы снова защёлкали. — По особому решению Совета. Но нужно согласие тихого. Без согласия обряд не держится, таков старый закон.

Все посмотрели на Миру. Одиннадцать пар глаз и один погасший огонь.

Щёки горели. Ладонь горела. Хотелось сказать что-нибудь такое, чтобы Морвен опять подавился своим кардамоном, а Торвальд перестал смотреть на неё, как смотрят на удачную покупку, которую ещё не распаковали. Слова были, целая очередь слов, толкались во рту. Но за спиной стоял отец между двумя стражниками. А рудники были не фигурой речи. Рудники были рудниками.

Сначала цена.

— Объясните, что это, — сказала Мира. — Клятва. Я пять лет училась в Коллегии, и нам о ней не сказали ни слова.

— Конечно, не сказали. — Торвальд развеселился, по-настоящему, даже морщинки у глаз собрались. — Зачем пугать детей? Горячий и тихий смешивают кровь над родовым осколком. Дальше связь постоянная. Тебе не придётся хватать его за руку, когда начнётся приступ. Ты будешь забирать его лишний жар, где бы ни была. Ну, почти где бы ни была.

— Почти.

— Чем дальше вы друг от друга, тем больнее. Обоим. Пустяк.

— Что ещё?

Он посмотрел на неё внимательнее. Так часовщик смотрит на деталь, которая оказалась не той формы, что он думал.

— Вы будете чувствовать друг друга. Страх, боль, злость. — Пауза. — Иногда кое-что ещё. Говорят, привыкают.

— А если он умрёт?

— Умрёшь и ты. И наоборот. — Он развёл чёрными пальцами. — Так что, видишь, мой сын будет беречь тебя не меньше, чем ты его. Честная сделка.

Мира посмотрела на Кассиана. И впервые за всё утро он смотрел на неё. Лёд, гладкий, без единой трещины. Если очень постараться и смотреть туда, где у льда глубина, можно было разглядеть вчерашнюю галерею. А можно было и не разглядеть. Она не была уверена, что не придумала её сама.

— Я против, — сказал Кассиан.

Сказал негромко, но в этом зале негромко звучало как удар.

Торвальд не обернулся.

— Учтено. Помолчи.

Кассиан замолчал. Но глаз от неё не отвёл, и Мира вдруг поняла, что не знает, против чего он. Против неё, пустокровой дочки часовщика, которую приклеят к нему до гроба? Тогда понятно. Тогда даже приятно: хоть что-то в этом зале понятно. Но вчера он сказал «беги». А сегодня сказал «я

против» так, как говорят люди, которые знают, чем всё кончится. И не догадываются, а именно знают.

Внутри у неё что-то сжалось и не разжималось. Как перекрученная пружина.

— У меня условия, — сказала она.

Морвен фыркнул, уже без прежнего веселья.

— Условия. Вы слышали?

— Говори, — сказал Торвальд.

— Первое. Отец свободен сегодня. Сейчас. Уходит отсюда своими ногами, мастерская остаётся его, и ни один синий плащ больше к нему не постучит. И это пишется в решение Совета. Пишется, а не обещается.

— Пишется, — сказала Арден, не дожидаясь Торвальда. Мира готова была поклясться, что старуха на долю секунды подняла глаза от вязанья и посмотрела на неё с интересом.

— Второе. Никакого браслета.

Торвальд улыбнулся одними губами.

— Дитя. Браслет можно снять, отрубив руку. Клятву ничем не снимешь. Но если тебе так дорога эта мелочь, пусть.

— Третье. — Во рту пересохло, язык лип к нёбу. — Я остаюсь знаковедом. Я получила золотую печать и буду работать. Стоять у вас в замке, как ваза на каминной полке, я не буду.

— А это решит мой сын. Ты теперь будешь принадлежать ему больше, чем мне.

— Я никому не буду принадлежать.

— Что ж. — Торвальд опустился в кресло, медленно, и сложил чёрные пальцы домиком. — Значит, ты будешь первой.

Она обернулась. Отец стоял у стены, совсем белый, и чуть-чуть качал головой. Нет. Нет. Нет. Как маятник, у которого кончается завод.

Мира смотрела на него и вспоминала совсем не то, что надо. Как он учил её держать пинцет: не пальцами, Мира, запястьем. Как в лихорадку сидел у кровати и чинил прямо на одеяле заводную птичку, чтобы она не спала, а смотрела. Как в тот день, когда огонь погас у неё на ладони, он закрыл ставни, сел напротив и долго молчал. А потом сказал: никто. Никто не должен знать. И добавил, совсем тихо: прости меня.

За что «прости», она тогда не поняла. Ей было двенадцать.

Двенадцать лет он её прятал. Ну что ж. Теперь её очередь.

— Я согласна, — сказала Мира.

Спицы леди Арден щёлкнули и замерли.

Обряд назначили на ту же ночь. Клятву на крови не откладывают, сказал Торвальд, за ночь люди передумывают. Мира подумала, что больше всего он боится, как бы не передумал Совет. Но промолчала. Её молчание сейчас тоже чего-то стоило, и тратить его на мелочи не хотелось.

Отца увели первым. В дверях мелькнула его спина, узкая, сутулая. Он обернулся, и стражник подтолкнул его ладонью

между лопаток, даже не грубо. Так подгоняют корову на мосту. Попрощаться им не дали. Мира не стала просить. Просить у этих людей она не собиралась ничего, никогда, даже воды.

Потом была карета с задёрнутыми окнами. Потом двор, запах конюшни и моря. Потом коридоры, лестницы, опять лестницы, всё вниз и вниз, пока обтёсанный камень не превратился в голую скалу, мокрую и холодную. Мира начала считать ступени, просто чтобы чем-то занять голову. Сто сорок две. Сто сорок три. На двухсотой она сбилась и разозлилась на себя так, будто от этого числа что-то зависело.

Склеп Вейров был вырублен прямо в утёсе. За стеной глухо, через камень, било море. Вдоль стен стояли каменные гробы, тяжёлые, на каждом имя и две даты.

Мира читала их на ходу, потому что не читать не могла. Это было как с часами: видишь цифры и сразу считаешь.

Альрик Вейр. Тридцать один.

Ингрид Вейр. Двадцать восемь.

Бран Вейр. Тридцать четыре.

Один совсем маленький гроб, детский, без имени. Только дата и синий камешек, вделанный в крышку. Она отвела глаза.

Эдмунд Вейр. Тридцать. Камень ещё светлый, не успел потемнеть. Дед Кассиана, тот самый, за обеденным столом. Тот, про чей запах Морвену рассказывал отец.

На сороковом гробу Мира бросила считать. Старше соро-

ка тут не было никого. Никого. А Торвальду за пятьдесят, и он только что стоял и улыбался ей в Зале Двенадцати, худой, пахнущий мятой.

От этой арифметики ей почему-то стало холодно. Холоднее, чем от скалы.

В конце зала на чёрном постаменте лежал осколок.

Она представляла себе что-то огромное, с алтарь величиной. А это был камень с два её кулака, кривой, со сколами, синий изнутри. Свет в нём медленно шевелился. Рядом с ним лицу было горячо, а спине холодно. Точно как зимой у кузнечного горна на Канатной, где она грелась девчонкой, пока кузнец не прогонял.

У постамента ждали трое. Торвальд в синем плаще. Жрец в сером, такой древний и сморщенный, что казался вырезанным из того же камня, что и гробы. И Кассиан.

На нём была одна белая рубашка с рукавами, закатанными до локтя. Мира посмотрела на его руки, не собиралась, глаза сами. Вчера там светились синие жилы. Сегодня кожа была бледная, с тонкими жилками у запястья, совсем обычная. А на правой ладони, поперёк, белел старый шрам. Ровный, тонкий. Как от ножа.

Мира нахмурилась. Клятву не заключали сто семнадцать лет. Тогда откуда?

Кассиан поймал её взгляд и сжал руку в кулак.

— Встань напротив, — сказал жрец. Голос у него оказался неожиданно звучным и молодым. Пока ждали, он мурлыкал

себе под нос, и Мира готова была поклясться, что это кабацкая песенка про рыбачку и боцмана. — Через камень.

Она встала. Между ними синий свет, и снизу он делал лицо Кассиана чужим и резким.

— Знаешь, на что идёшь? — спросил жрец.

— Нет, — сказала Мира. — Но иду же.

Старик хмыкнул. Кажется, ему понравилось. Он достал бронзовый нож, тёмный, с зазубринкой у острия.

— Руку.

Мира протянула левую. Жрец покачал головой.

— Ту, которой касалась.

Конечно, ту. Она протянула правую, обожжённую. Сухие стариковские пальцы взяли её за запястье, и нож прошёл по ладони прямо через лопнувший волдырь. Вот тут стало темно. По-настоящему, на секунду, перед глазами поплыло, и Мира почувствовала, как подгибается колено. Не дала ему подогнуться. Не при нём. Только не при нём. Пусть хоть руку отрежут.

Кассиан протянул ладонь сам, шрамом вверх. Жрец резанул точно по старому шраму, по линии, будто делал это уже не в первый раз. Кассиан не дрогнул. Только желваки прошли по скулам волной и замерли.

— Над камнем. Ладонь к ладони.

Она вытянула руку. Синий свет сразу жадно потянулся к её крови. Жар лизнул кожу. А потом сверху легла его ладонь, порез к порезу, горячая и мокрая, и его пальцы вошли между

её пальцами и сомкнулись.

— Повторяйте.

Слова были на старом языке, на котором в Коллегии писали только печати. Мира знала его лучше всех на курсе. Слова ложились на язык тяжело, по одному.

«Кровь к крови. Жар к тишине. Что болит у тебя, болит у меня. Где ты, там и я. Пока бьётся одно сердце, бьётся и второе. Остановится одно, остановится и второе. Сердце свидетель».

Он говорил вместе с ней, низко и ровно. И где-то на середине она перестала слышать, где её голос, а где его.

На последнем слове осколок вспыхнул.

Свет ударил в потолок, выбелил гробы, стены, жреца, руки. Жар вошёл через ладонь и пошёл вверх, по руке, в плечо, в горло, к сердцу, будто в вены вливали жидкий металл из тигля. Мира когда-то видела, как отец паял тонкую пружину, и пружина под паяльником светилась красным. Вот так. Только пружиной теперь была она.

А навстречу жару поднималось её собственное. Тихое. Прохладное. Бездонное, как колодец во дворе у тётки в деревне: в детстве она кидала туда камешки и ни разу не услышала дна. Оно поднималось, встречало жар, обнимало его, гасило, глотало. И не наедалось.

И тут она почувствовала его.

Вчера в галерее это было мельком, на краю. А сейчас дверь сорвало с петель.

Его боль от пореза, острая и привычная. Вот что было страшнее всего: привычная. Усталость такая старая, будто он родился уже уставшим. Страх, детский, давний, липкий: перед этими сорока гробами и перед маленьким гробом без имени тоже, особенно перед ним. Злость на отца, ровная и холодная. Злость на неё. Презрение, совсем тонкое: тронь пальцем и порвётся. А под ним…

Под ним было желание.

Тёмное, жадное, совсем не воспитанное. Оно смотрело на её губы, на её запястье в его руке, на ямку у ключицы, которую видно в вырезе серого платья. Мира задохнулась. Подняла глаза. Он смотрел на неё в упор, и по тому, как у него дёрнулось горло, она поняла: он слышит её так же. Её ненависть. Её страх за отца. И то, что она сама в себе слышать не хотела: что поднялось в ней от его пальцев, от полыни, от того, как он держал её, крепко, почти больно, будто боялся отпустить.

Деться им было некуда. Совсем. Ни одного угла.

Свет погас.

Мира стояла и держалась за его руку, потому что иначе колени бы не выдержали. Он держался за неё, видимо, по той же причине. Дышали оба тяжело. За стеной било море. Больше ничего не было слышно.

— Свершилось, — довольно сказал жрец и, кажется, снова замурлыкал свою рыбачку.

Кассиан отнял руку первым, резко. И её окатило отвраще-

нием, мутным и тяжёлым. Только на вдох позже Мира поняла, куда оно направлено. На себя. На то, что он почувствовал.

И что ей теперь с этим делать, она не знала. Вообще.

— Чудесно, — сказал Торвальд. Он подошёл и взял её за подбородок. Пальцы были холодные, как у покойника, и мятой от него несло так, что заслезились глаза. Повернул её лицо к остаткам синего света, как поворачивают камень, проверяя, нет ли трещины. — Теперь ты часть моего Дома, дитя. Береги моего сына. Умрёт он, умрёшь и ты.

— Я помню, лорд Вейр. — Голос получился хриплый, но ровный, и она даже немного собой погордилась. — Только берегите его лучше вы. Мне двадцать четыре. Ложиться в ваш склеп мне рановато. Тут и без меня тесно.

Торвальд засмеялся. Тихо и, похоже, искренне.

— Ты мне нравишься, — сказал он. — Для тебя это плохо. Мне мало кто нравится долго.

Он ушёл. Жрец ушаркал следом, мурлыча. Мира и Кассиан остались вдвоём: сорок гробов, один маленький и один погасший камень.

— Я говорил тебе бежать, — сказал он.

— А я говорила, что некуда. — Она прижала порезанную ладонь к груди, и по серому платью тут же поползло тёмное тёплое пятно. Второе платье за два дня. Так и на собственные похороны надеть будет нечего. — Вы, кажется, плохо слушаете, лорд Вейр. Это у вас семейное или вы над этим специально работали?

— Ты не понимаешь, что ты сделала.

— Вы это уже говорили. Вчера. Слово в слово. Придумайте что-нибудь новенькое, а то я начну скучать.

Он шагнул к ней. Мира не отступила, хотя ноги сами хотели. Камня между ними больше не было. И она вдруг поняла, что чувствует, как близко он стоит, не глазами, а кожей, изнутри. Будто между ними натянули струну и тронули. И что тело отвечает на эту близость, глупое предательское тело. И что он это слышит. Конечно, слышит. Теперь он слышит всё.

Чёрт.

— Мой отец, — сказал Кассиан очень тихо, так, чтобы даже гробы не разобрали, — ничего не делает просто так. Он не помнит долгов. Никогда не помнил. Раз он посадил тебя на эту цепь, значит, ты ему зачем-то нужна. Не мне. Ему.

Мира смотрела на него и слушала, и не ушами. Связь гудела ровно, без фальши. Он не врал. Он боялся за неё, и вот это было невыносимо. И ненавидел себя за этот страх так, что у неё самой заныло под рёбрами.

— Зачем?

— Не знаю.

— Врёте.

— Нет. — Уголок рта у него дёрнулся, криво, почти по-человечески. — Теперь ты всегда будешь знать, когда я вру, Остен. Это тоже часть сделки. Привыкай.

— А шрам? — Она кивнула на его сжатую руку. — К нему тоже привыкать?

Лицо у него закрылось. Как ставни. Хлоп.

— Не твоё дело.

И ушёл. Шаг, второй, третий. На третьем шаге у неё под рёбрами потянуло, сначала тихонько, как нитку из шва, потом сильнее. На десятом стало больно. На двадцатом она прислонилась к холодному гробу. Бран Вейр, тридцать четыре. Извините, Бран. На сороковом шаге боль стала такой, что Мира бросила считать и просто дышала. Потом он, видимо, поднялся по лестнице, и чуть отпустило. Чуть-чуть.

Комнату ей показала молчаливая горничная в сером. Комната оказалась большой и холодной. Камин не растоплен. Кровать под тёмным балдахином, на которой спокойно улеглись бы четыре Миры. Окно на море. И одна стена общая с соседней спальней.

Мира стояла посреди комнаты и точно знала, где за этой стеной Кассиан. Справа, у окна. Стоит и смотрит на то же самое море. Она даже знала, что у него болит ладонь и что он её не перевязал. Из упрямства. Она бы тоже не перевязала.

Он злился. Ровно, холодно. А под злостью шевелилось ещё что-то, тёмное, и Мира очень старалась туда не смотреть. Получалось плохо.

Она села на край огромной кровати и посмотрела на ладонь. Порез затянулся бурой корочкой.

Ещё вчера утром у неё была своя жизнь. Маленькая. Бедная. С кислым вином на выпускном, с платьем в чужом пятне, с отцовскими часами, которые тикали все вразнобой. Но

своя. А теперь у неё не осталось даже собственной боли. Даже боль теперь на двоих.

И тогда она сделала то, чего от себя не ожидала. Сжала порезанную ладонь в кулак. Сильно. Так, что корочка треснула и между пальцами снова стало мокро и горячо.

Боль ударила в руку, до локтя.

А за стеной что-то грохнуло об пол, кажется, кувшин, и Кассиан Вейр выругался. Громко. Длинно. Такими словами, каких Мира не слышала даже от грузчиков на Нижнем рынке. А уж она-то слышала многое.

Мира разжала кулак и посмотрела на кровь. И впервые за двое суток улыбнулась. Широко, нехорошо, так, что сама себе удивилась.

Ах вот как это работает. Ну что ж, лорд Вейр. Ну что ж. Посмотрим, кто из нас первым запросит пощады.

Глава 3

Глава 3. Сосуд

Проснулась Мира от того, что кто-то держал её за руку.

Никто не держал. Она лежала одна, поперёк огромной кровати, в платье поверх покрывала, и правая ладонь у неё была забинтована. Аккуратно, туго, в три оборота, с узелком на запястье. Так завязывают лекари или очень аккуратные люди, которые не терпят, когда концы торчат в разные стороны.

Мира долго смотрела на этот узелок. Вчера она так и уснула, с кровью между пальцами. Это она помнила точно.

Камин был растоплен. Тоже не ею.

Она села, и комната качнулась, а потом встала на место. Под рёбрами тихо и ровно ныло. Связь. Мира прислушалась к ней и услышала: он не спит. Он где-то внизу, далеко, но не слишком, и у него тоже болит ладонь. Только боль у него тупая, приглушённая, как бывает под тугой повязкой.

Значит, себе он руку всё-таки перевязал. Хотя из упрямства не собирался.

А ей? Мира снова посмотрела на узелок. Нет. Наследник второго Дома империи ночью заходит к пустокровой и бинтует ей руку, пока она спит? Скорее старая леди Арден довяжет свой рукав до конца. Это горничная. Молчаливая горничная в сером. Конечно, она.

Мира почти себя убедила.

И только теперь, при свете дня, заметила дверь. В стене, общей с его спальней, наполовину закрытая старым гобеленом с охотой на оленя. Низкая, дубовая, тёмная от времени. Ручки с её стороны не было. Только чёрная железная скважина.

Стукнули в другую дверь, ту, что вела в коридор. Стукнули так, как стучат люди, которым не нужно разрешение войти, и сразу вошли.

Женщине было лет шестьдесят. Прямая, как гвоздь, в тёмно-синем платье с белым воротничком. На поясе висела связка ключей, и Мира, ещё ничего не успев подумать, начала их считать. Тридцать семь. Тридцать восемь, если считать маленький медный, похожий на ключик от шкатулки. На левой руке у женщины была перчатка, на правой не было. Почему-то это цепляло сильнее, чем всё остальное.

— Госпожа Хальд, — сказала женщина. — Экономка Дома Вейр. Вы проспали утреннюю молитву Сердцу и завтрак.

— Меня никто не будил.

— Вас и не должны были будить. — Хальд положила на кресло стопку одежды. — Это ваше. Надевайте.

Мира развернула верхнее. Серое шерстяное платье, добротное, даже лучше её собственного. С синей окантовкой по вороту и манжетам. Синий цвет Вейров. Так одевают людей Дома, чтобы на улице сразу было видно, чьи они.

— Спасибо. — Мира сложила платье обратно, уголок к уголку. — Я в своём.

Экономка посмотрела на её платье. На груди расплылось бурое пятно вчерашней крови, уже затвердевшее.

— Ваше испорчено.

— Застираю. У нас в нижнем городе кровь отстирывать умеет каждая. Холодной водой и солью. Горячей нельзя, она её запекает. Вам, наверное, не пригодится, но вдруг.

Хальд не улыбнулась. Улыбаться она, видимо, не умела.

— Как угодно. Теперь правила.

— Правила, — повторила Мира. — Как интересно. Мне их запишут или нужно запомнить с первого раза? Сразу предупрежу: у меня золотая печать. Запомню.

— Тем лучше. Первое. Вы не покидаете восточное крыло без сопровождения. Второе. Вы едите у себя, в столовую вам нельзя. Третье. Вы не прикасаетесь к слугам.

— Это почему?

— Слуги боятся.

— Чего? Что я их укушу?

— Что вы заберёте у них тепло, — спокойно сказала Хальд. — Говорят, если тихая кровь тебя коснётся, руки стынут на неделю, а у детей бывает горячка. Это чепуха. Но они так говорят, и переубеждать их я не стану. У меня другая работа.

Мира посмотрела на её перчатку. Одна. На левой. И, кажется, теперь поняла зачем.

— Четвёртое, — продолжала Хальд. — При лорде Торвальде вы молчите, пока вас не спросят. Пятое. — Она по-

вернулась к низкой двери под гобеленом. — Эта дверь заперта со стороны молодого лорда. Ключ у него. Вы её не трогаете.

— А зачем она вообще?

Мира спросила и тут же поняла, что знает ответ. Где-то в животе знает, раньше, чем в голове.

Хальд помолчала. Впервые за весь разговор. Рука в перчатке легла на связку ключей, будто проверяя, все ли тридцать восемь на месте.

— Это комната сосуда, — сказала она. — Так её всегда называли. Триста лет назад, когда тихих ещё держали при Домах без всякой опеки, здесь жили сосуды. А дверь затем, чтобы лорд мог прийти ночью, если начнёт гореть. Не будить дом. Не звать. Просто прийти.

Стало тихо. В камине треснуло полено. Мира смотрела на чёрную скважину и думала о том, сколько женщин до неё сидело на этой кровати и слушало, не повернётся ли ключ. И что они делали, когда он поворачивался.

— Сосуд, — повторила она. — Как кувшин. Или ночной горшок.

— Слово старое. Его давно не говорят. Теперь говорят «под опекой».

— А вы сказали.

— Я старая. — Хальд взялась за ручку двери. — И считаю, что лучше знать, в какой комнате живёшь. Завтрак под дверью, он остыл. Обед в час.

И вышла. Ключи звякнули в коридоре и затихли.

Завтрак стоял на полу. Прямо на каменном полу у порога: поднос, миска остывшей каши с застывшей плёнкой, хлеб, кружка воды. Так ставят еду собаке. Вчерашнее слово, вейровское, снова царапнуло изнутри.

Мира подняла поднос, поставила на стол и съела всё до крошки. Голодать назло им было бы глупо. Глупо и по-детски. Она будет есть их хлеб и копить силы, а злость отложит на потом, в отдельный ящичек. Так отец складывал редкие пружины: аккуратно, по размеру, с биркой. На бирке сегодняшнего дня уже было три пункта: ливрея, перчатка, поднос на полу.

Потом она застирала платье в тазу с ледяной водой, высушила его, как смогла, у камина и надела влажным. Пятно побледнело до цвета слабого чая. Сойдёт.

А потом она нарушила первое правило.

В замке Вейров у всего и у всех было своё место. Горничные с вёдрами шли только вдоль стены, никогда по центру ковра. Лакей на лестнице стоял так неподвижно, что Мира дважды приняла его за доспехи. И всё было синее: шторы, стёкла в лампах, ленты на портретах.

Портреты висели в длинной галерее второго этажа. Мира шла мимо них и машинально считала. И с каждого смотрели люди, которых она вчера видела на гробах. Альрик. Ингрид. Бран. Все молодые. Ни одного седого. Последним висел портрет того, чей гроб ещё не успел потемнеть: Эд-

мунд, светлоглазый, приветливый, с охотничьей собакой у ног. Портрета Торвальда в галерее не было. Кассиана тоже.

Портреты тут, похоже, вешали после.

В конце галереи стояли часы. Настоящие, высокие, в два роста Миры, в корпусе из чёрного дерева с серебром. Работа старого Хельма, она узнала сразу по стрелкам-копьям, отец показывал ей такие в книге. Таких в империи осталось штук пять. И они стояли. Стрелки замерли на без двадцати двенадцать, маятник висел неподвижно, на стекле лежала пыль.

У Миры зачесались пальцы. По-настоящему.

— Их остановили в тот час, когда умер лорд Эдмунд, — сказал кто-то сзади.

Мира обернулась. На ступеньке стремянки сидела девчонка лет десяти в фартуке посудомойки и чистила медный подсвечник. Увидев, что Мира смотрит на неё, девчонка тут же спрятала обе руки под фартук. Вместе с подсвечником.

— И с тех пор не заводили? — спросила Мира.

Девчонка покачала головой. Потом, покосившись на Мирину забинтованную руку, спросила шёпотом:

— А правда, что если вы тронете, пальцы отвалятся?

В нижнем городе на Миру тоже косились: пустокровая, Коллегия, задаётся. Но руки от неё никто и никогда не прятал.

— Неправда, — сказала она. — Смотри. — Она растопырила пальцы здоровой руки. — Я себя каждый день трогаю, и все пять на месте.

Девчонка открыла рот. Потом закрыла. Потом вдруг фыркнула в фартук, схватила свой подсвечник и убежала вниз по лестнице, дробно стуча каблучками. На повороте она оглянулась. Первый человек в этом доме, который оглянулся на Миру без страха.

Мира последний раз посмотрела на часы Хельма. Без двадцати двенадцать. Потом, дала она себе слово. Потом, когда-нибудь.

Куда идти, она не знала. Зато знала связь.

Она тянула вниз и влево, настойчиво, как стрелка компаса. Мира попробовала свернуть вправо, просто чтобы проверить. Через десять шагов под рёбрами заныло так, будто там затянули ремень на лишнюю дырку. Она вернулась. Ремень отпустило.

Замечательно. Теперь она ещё и на поводке.

Стрелка привела её через кухонный коридор (две прачки прижались к стене и перестали дышать) к тренировочному двору. Двор был квадратный, посыпанный песком, с галереей по краю. На песке дрались двое.

Один был старик из тех, кто с годами будто врастает в землю и становится похож на заскорузлый дуб: седой, широкий, с лицом в глубоких складках, как кора. Двигался он так мало, что казалось, стоит на месте. Другой был Кассиан.

Без камзола. В тонкой рубашке, мокрой на спине и прилипшей к лопаткам. Правая ладонь перемотана полосой льна, и клинок он держал прямо поверх повязки. По клинку,

от рукояти к острию, то и дело пробегали синие искры. Раскалённая кровь Вейров затекала даже в сталь.

Дерётся он красиво, отметила Мира с неожиданной досадой. Быстро, точно, без единого лишнего движения. Как хороший спусковой механизм: тик, так, и ни одного зубца мимо. Старик отбивал лениво, словно отмахивался от мух.

А потом Кассиан почувствовал её.

Она увидела это по его спине. Лопатки дрогнули, плечо на полпальца поднялось, голова сама начала поворачиваться к галерее. И старик спокойно, без всякой злобы, приложил его плоской стороной клинка по рёбрам.

Звук был глухой. А у Миры слева, в том же месте, вспыхнуло так, что она согнулась и схватилась за перила.

— Смерть, — сказал старик. — Уже вторая за утро. Куда смотрим, милорд?

Кассиан не ответил. Он смотрел на неё. Потом на её руку, прижатую к боку. Потом опять на неё.

— Гарет, — сказал он наконец. — Оставь нас.

Гарет поднял глаза на галерею. В отличие от девчонки с подсвечником, он не боялся. Он просто осмотрел её целиком, от влажного платья до забинтованной руки, и что-то неслышно хмыкнул в бороду.

— На рёбрах теперь синяк будет, — сказал он Мире, уходя. — У обоих, полагаю. Приложите холодное. Хотя вам, говорят, и так не жарко.

Мира спустилась по трём ступенькам на песок. Песок был

тёплый. Неправильно тёплый для такого хмурого утра, и тепло шло от него кругами.

— Тебе сказали не выходить из крыла, — сказал Кассиан.

— Мне много чего сказали. Есть с пола, например. И носить ваши цвета.

Уголок его рта дёрнулся. Не в улыбку.

— Зачем ты пришла?

— По делу. Третье условие. Вы обещали мне работу. Я знаковед, если вы забыли, а не мебель для восточного крыла.

— Работа подождёт.

— Не подождёт. — Мира махнула забинтованной рукой в сторону ворот. — У вас печати на воротах осыпаются. Левая створка, второй круг, там вместо третьего узла уже просто царапина. Я ещё вчера увидела, когда меня вели через двор. И склеп. Ваш склеп, на двери. Там по контуру трещина в палец. Вы вообще знаете, что бывает, когда контур расходится на старой печати?

— Она перестаёт держать.

— Она перестаёт держать в самый неудачный момент, — поправила Мира. — Они всегда так. Это как пружина, которая лопается не тогда, когда ты на неё смотришь, а ночью, в тишине, и половина механизма вылетает через циферблат.

Печати были её ремеслом, и в них она понимала больше, чем в людях. Печать не украшение и не герб. Это знак, вырезанный в камне или в металле и залитый особыми чернилами, и по нему жар мага течёт, как вода по жёлобу. Без пе-

чати горячая кровь бьёт куда попало. С печатью она держит ворота запертыми для чужих, греет стены зимой, не пускает сырость в склеп. Чертить их могут только тихие: горячему взяться за печать всё равно что чинить паяльник, держа его за раскалённый конец. Потому знаковедов и держат при Домах. И потому же стараются не замечать.

Он долго молчал. Сквозь мокрую рубашку было видно, как поднимается и опускается грудь.

— Ты здесь не для этого, — сказал он. — Ты здесь, чтобы я не сгорел.

Вот оно. Наконец-то вслух. Мира даже почувствовала что-то вроде облегчения.

— Я здесь, — сказала она раздельно, — потому что ваш отец купил меня за моего отца. Дешево, кстати. Одна подпись в бумагах и комната с дверью без ручки. А вы стояли за папиным креслом и говорили «я против», когда всё уже было решено. Удобно. И совесть чистая, и пустокровка под боком.

Она поняла, что попала, даже не по его лицу. По связи. Там что-то коротко и горячо дёрнулось. И стало расти.

Сначала его злость. Потом, в ответ, её, потому что какое право он имеет злиться, это она ест с пола. Потом его, уже на её злость. Туда-сюда, туда-сюда, как свет между двумя зеркалами, поставленными друг напротив друга. И с каждым разом ярче.

На его шее проступили вены. Синие. Не синеватые, как у

всех людей, а синие, светящиеся, словно по ним вместо крови пустили жидкий синий огонь. Клинок в его руке засветился целиком. От песка под его сапогами потянулся дымок, тонкий и серый.

Мире стало жарко. Самой. Изнутри. Впервые в жизни.

И ей это не понравилось так сильно, что она сделала единственное, что пришло в голову. Шагнула вперёд и схватила его за запястье.

Кожа обжигала. Она не отпустила. Холод пошёл из её ладони не сразу, а нехотя, потом ровнее, потом сам потёк, без её участия. Синие нитки на его шее мигнули один раз, два, и начали гаснуть. Дымок над песком оборвался.

Они стояли очень близко. Настолько, что Мира чувствовала его дыхание на лбу, а он, наверное, её, где-то в районе ворота. От него пахло потом, горелым песком и чем-то ещё, тёплым, чему она не знала названия. И по связи, поверх затихающей злости, вдруг прошло другое. Короткое, тяжёлое и тёмное, как глоток крепкого вина на голодный желудок. Не злость. Совсем не злость. Такое, от чего у Миры занемели кончики пальцев на его запястье.

Чьё это было желание, его или её, она не смогла бы сказать. В этом и была вся мерзость.

Они отшатнулись одновременно. Он на шаг, она на два. На ладони у неё остался красный след, на его запястье белый.

Кассиан посмотрел на клинок, будто видел его впервые, и воткнул в песок. Песок зашипел.

— Если мы будем грызться, — сказал он, не глядя на неё, — я сгорю быстрее. Ты это сейчас видела.

— Видела.

— И ты тоже. Ты это поняла?

Она поняла. Жар ещё сидел у неё под грудиной, незнакомый и липкий. Но вслух она ничего не сказала.

Кассиан полез в карман брошенного на скамью камзола, достал ключ и кинул ей. Мира поймала левой, неловко, прижав к животу. Тяжёлый, железный, с бородкой в три зуба.

— Северная башня. Наверху мастерская печатника. Печатник умер десять лет назад, нового не взяли. Там пыльно. — Он помолчал. — Отец туда не поднимается. Сто сорок ступеней. Ему дыхания не хватает.

Мира посмотрела на ключ, потом на него.

— Это что, сделка?

— Это чтобы ты не шлялась по дому и не пугала прачек. — Он натянул камзол прямо на мокрую рубашку. — Не ради тебя.

— Я и не думала.

Он уже пошёл к арке, когда она спросила ему в спину. Вопрос выскочил сам, без разрешения.

— Это вы перевязали мне руку?

Он не остановился.

— Нет.

И в связи, в ровном тихом ходе, к которому она уже начала привыкать, что-то пропустило тик. Один. Как часы, у ко-

торых задели маятник. Отец научил её слышать такие вещи лет в семь. «Врать часы не умеют, Мирка. Они сразу сбиваются».

Мира положила этот пропущенный тик в тот же ящичек, где лежала злость. Рядом. На бирке написала: «Врёт».

Ступеней было сто сорок одна. Он ошибся на одну, и Мира со стыдом поймала себя на том, что ей это приятно.

Дверь мастерской поддалась с недовольным скрипом. Внутри пахло лаком, старым воском и мышами. Круглая комната, четыре узких окна на четыре стороны света, длинный верстак, покрытый ровным слоем пыли. На полках стояли банки с травлёными чернилами, и в одной чернила высохли в красную корку.

Мира провела пальцем по верстаку. Осталась дорожка. Первая за десять лет.

И впервые за два дня она смогла нормально вдохнуть.

Работа была лучше сна. Она нашла тряпку, нашла ведро, нашла на подоконнике дохлую осу и аккуратно смахнула её в угол. Потом раскрыла настенный шкаф с инструментами и села прямо на пол перед ним.

Резцы. Десять размеров, каждый в своём гнезде. Двое гнёзд пустые. Кисти из беличьего волоса, склеившиеся. Грифели. Лупа на латунной ножке с крошечной трещиной в стекле. Всё дорогое, старое, брошенное так, как бросают вещи покойника: и выкинуть жалко, и трогать страшно.

В нижнем ящике лежала шкатулка для печатей. Обычная,

дубовая, с отделениями под восковые образцы. Образцов не было. Была только крышка, которая закрывалась не до конца. На полпальца. Деталь, которую заметил бы только человек, выросший среди футляров и крышек.

Мира перевернула шкатулку, постучала по дну костяшкой. Звук был не тот. Пустой. Двойное дно сидело на двух шпильках, и тот, кто его делал, толком не старался. Самым тонким резцом она подцепила дощечку.

Под ней лежал ключ.

Небольшой, из потемневшей бронзы, с узорчатой головкой. К кольцу на выцветшей нитке была привязана бирка. Старая, пергаментная, совсем мягкая. Чернила побурели, но читать было можно.

«Восточное крыло. Внутренняя».

А ниже, совсем другой рукой, не чернилами, а чем-то острым, буквы были процарапаны прямо в пергамент. Неровные. Так царапают имя на стене тюремной камеры, когда больше нечем писать.

«Ильва».

Мира долго сидела на пыльном полу и не шевелилась. В окне над верстаком одна за другой ползли облака. Ильвами называли девочек при прабабках. Потом имя вышло из моды, сейчас так зовут разве что коз. Но ни на одном портрете в галерее Вейров такого имени не было. Она помнила все таблички. Золотая печать.

Внутренняя.

Внутренних дверей в восточном крыле она знала ровно одну.

Ключ она сунула за ворот платья, туда, где он лёг холодной тяжестью поверх застиранного пятна крови. Шкатулку закрыла. Дощечку вернула на место, обе шпильки до щелчка. На крышку она даже немного подула, чтобы пыль легла ровнее.

Потом до самого вечера чистила резцы. Рукам нужно было чем-то заняться, иначе они начинали трястись.

Ночью её разбудил жар.

Не свой. Своего у неё никогда не было, даже в детстве, когда весь двор лежал с лихорадкой, а маленькая Мира носила всем воду и не понимала, почему взрослые так странно на неё смотрят. Жар был его. Он шёл по связи толчками, и с каждым толчком у Миры сжимались зубы.

Она лежала и считала. Толчок. Девять ударов сердца. Толчок. Восемь. Толчок. Семь. Промежутки сокращались. Так ведёт себя пружина перед тем, как сорваться.

И ладонь болела. Та, что под аккуратным узелком. Не её болью.

Мира села. Комната была чёрная, только в камине дотлевали угли, и олень на гобелене казался не добычей, а охотником. За краем гобелена чернела низкая дверь.

Пятое правило, сказала себе Мира. Ты её не трогаешь.

Она не помнила, как встала. Запомнила только каменный пол, совсем ледяной под босыми ногами, и то, что холод был

приятен. Ключ уже был у неё в руке. Тёплый. Её собственные пальцы его бы не согрели, у тихих руки всегда холодные. Значит, грело то, что текло к ней по связи.

Скважина была ровно на высоте её груди.

Ключ вошёл.

Тихо, мягко, без единого скрежета. Будто замок триста лет его ждал и кто-то все эти триста лет смазывал механизм. Мира почувствовала пальцами, как бородка легла на первую сувальду. Один поворот. Половина поворота, даже меньше. И дверь откроется.

За дверью дышали.

Неровно, тяжело, сквозь стиснутые зубы. Так дышит человек, который очень старается не застонать и почти справляется. В старые времена, думала Мира, на этом месте ключ поворачивали с другой стороны. И никто не спрашивал сосуд, хочет ли он, чтобы его наполняли.

А теперь ключ был у неё.

И если она не войдёт, он может не дотянуть до утра. А если не дотянет он, то и она не дотянет. Условие клятвы, знакомое до тошноты. Это простая механика, Мирка. Два колеса на одной оси.

Но было ещё то, другое, во дворе, когда она держала его за запястье. Тёмное и тяжёлое, от чего немели пальцы. Желание, если называть вещи своими именами. И до сих пор непонятно чьё. Если она сейчас войдёт, в темноте, босая, в ночной рубашке, и возьмёт его за руку, что из этого будет

клятвой, а что им?

Мира прижалась лбом к дубу. Дерево было тёплым. Даже оно.

Жар по связи не утихал, но и не рос. Держался на одной ноте. Можно и потерпеть, сказала она себе. Раз терпит он, то потерпит и она. Двадцать четыре года она терпела холод. Одну ночь жара как-нибудь переживёт.

Не сегодня, решила она.

Но ключ из скважины не вынула. Пальцы не разжимались. Так она и стояла, с рукой на ключе и лбом на тёплом дереве, и считала его вдохи, потому что считать было лучше, чем думать.

Сорок два. Сорок три.

На сорок четвёртом дыхание за дверью остановилось. Не оборвалось, нет. Затаилось. Так замирают, когда услышали в темноте чужой шорох.

С той стороны о дерево тихо стукнуло. Выше её головы, на ладонь. Как будто кто-то тоже прислонился лбом к двери.

Он стоял там. Вплотную. И тоже не двигался.

Глава 4

Глава 4. Короткий поводок

Первый глоток холодного корня всегда на вкус как ржавый гвоздь, который пролежал зиму в мокрой земле. Второй уже никак. К третьему рот немеет, и можно допить до дна.

Кассиан допил до дна и поставил стакан на пол, мимо. Стакан качнулся, подумал и покатился под кровать. Ну и пусть. До утра он ему всё равно не понадобится: больше трёх стаканов за ночь лекарь запрещал. От четвёртого начинают дрожать руки, от пятого чернеют ногти. Кассиан видел, как это бывает. Каждый день видел, за завтраком.

Жар не уходил.

Он сидел в груди низко и твёрдо, как раскалённая подкова, которую кто-то забыл под рёбрами. Иногда подкова остывала до красного, и можно было дышать. Иногда кто-то снова клал её в горн. Тогда по правой руке, от локтя к запястью, проступали синие нити, и льняная повязка на ладони начинала пахнуть палёным.

Четырнадцать часов. Столько прошло с того момента на песке, когда её пальцы сомкнулись у него на запястье. Четырнадцать часов, и вот он сидит на полу в собственной спальне, в расстёгнутой рубашке, и считает часы. Вчера он считал иначе: по дням до смерти. Нельзя сказать, что новая привычка нравилась ему больше.

Отец сказал бы, что всё просто. Отец всегда говорил, что

всё просто. За стеной лежит лекарство. Лекарство твоё по закону, по крови и по приговору Двенадцати. Ключ в кармане. Встань, открой, возьми за руку, ложись спать. Для этого дверь и прорезали триста лет назад.

Кассиан прижался затылком к стойке кровати и закрыл глаза.

Не пойдёт.

Дело было не в гордости. Или не только в ней. Он просто знал, как это будет. Она проснётся от скрежета замка. Увидит в проёме человека, у которого светятся жилы на шее. И в её глазах, серых и насмешливых, впервые появится не злость, а жалость.

Злость он перенёс бы. К злости он привык с детства.

За стеной скрипнула кровать.

Он услышал это не ушами. Связью. Всё время, пока он сидел тут и считал, с той стороны была ровная сонная тишина, такая, что ей хотелось завидовать. А теперь тишина лопнула, и в неё хлынуло что-то острое и бодрое.

Она проснулась. От его жара.

Чёрт.

Кассиан задержал дыхание, будто это могло что-то спрятать. Ничего не спрятало. Подкова под рёбрами толкнулась, как живая, и по связи откликнулось: стиснутые зубы. Не его. Её.

Вот чего никто не сказал ему про клятву. То, что теперь нельзя страдать молча. Всю жизнь он умел одно: стиснуть

челюсти и переждать. Отец ценил в нём именно это. А теперь за стеной лежала чужая девчонка из нижнего города, и каждый раз, когда он стискивал челюсти, она стискивала свои.

Шаги. Босые, по камню. Один, два, четыре. Они шли не к камину и не к окну. Они шли сюда.

А потом в скважину с той стороны вошёл ключ.

Кассиан сначала даже не понял, что услышал. Звук был тихий, почти вежливый: металл по металлу, а потом мягкий толчок, когда бородка дошла до упора. Потом понял. И про жар он вдруг забыл.

У неё не может быть ключа.

Ключ от внутренней двери был один, и он висел у Кассиана на шее, на кожаном шнурке, с тех пор как Хальд сняла его со своей связки и передала ему в ночь после обряда. Он нащупал его сейчас сквозь рубашку: тёплый, на месте. А за дверью в замке сидел другой.

Он встал. Ноги слушались плохо. Три шага до двери он прошёл так, что ни одна доска не скрипнула. Гарет бы одобрил.

За деревом дышали. Совсем рядом, на уровне его груди. Она была ниже на голову, он запомнил это на песке, когда её дыхание пришлось ему в горло, чуть выше ворота. Запомнил и потом полдня не мог выкинуть из головы.

Он положил ладонь на дуб. Правую, забинтованную. Потом, сам не зная зачем, прислонился к двери лбом.

И подкова под рёбрами начала остывать.

Не сразу. Не так, как на песке, когда её ладонь легла ему на кожу и жар ушёл в неё весь. Медленно. Неохотно. Словно через два пальца дуба тоже что-то просачивалось. Раз в десять слабее, чем при прикосновении. Но просачивалось.

Он не знал, что так бывает. В книгах, которые ему давали читать, про тихую кровь было написано мало и скупо: снимает жар при непосредственном касании, сила действия зависит от площади соприкосновения. Про двери там не было ни слова.

Сорок два. Сорок три. Сорок четыре. Он считал её вдохи и только на сорок четвёртом понял, что считает. Он никогда в жизни ничего не считал, кроме дней и стаканов. Это была не его привычка. Его тошнило от мысли, чья.

Он перестал дышать.

И по ту сторону тоже перестали.

Так они и стояли, каждый лбом в свой бок одной и той же доски, и никто не повернул ключ. Потом ключ с той стороны тихо вышел из скважины. Шаги ушли. Скрипнула кровать.

Жар в груди остыл до красного. Можно было дышать.

Кассиан сполз по двери на пол и просидел так до рассвета, спиной к дубу. Отойти на три шага, к кровати, оказалось нельзя. Он попробовал один раз, и подкова тут же налилась белым.

Вот тебе и наследник второго Дома империи. Сидит на полу у двери сосуда, как пёс, которого не пустили в дом.

Хорошо хоть, что она этого не видела.

Рассвет пришёл серый и мокрый, как всегда на Чёрной скале в конце осени. Кассиан помылся ледяной водой, сменил повязку и стоял перед зеркалом дольше, чем следовало. Синяк на рёбрах расплылся на пол-ладони, жёлтый по краям. У неё сейчас такой же. Точно такой же, на том же месте, на её тонких рёбрах.

Он отвернулся от зеркала и надел рубашку.

В дверь постучали. Именно постучали, а не вошли: слуги в этом доме входили без стука только к тем, кого считали мебелью. На пороге стоял отцовский секретарь, бесцветный человечек по имени Орса, с чернильным пятном на среднем пальце, которое не сходило у него уже лет двадцать.

— Лорд Торвальд ждёт вас к завтраку, милорд. В кабинете.

В кабинете. Не в столовой. Кассиан кивнул и потянулся за камзолом. Расстёгивать ни одной пуговицы в кабинете отца не полагалось с десяти лет.

В кабинете отца всегда было холодно.

Не прохладно, как в церкви или в погребе, а именно холодно, по-зимнему, с инеем по углам оконных стёкол. Камин здесь не топили с тех пор, как Кассиан себя помнил. В детстве он думал, что это строгость. Потом понял: нет, просто отцу так легче. В тёплой комнате он начинал гореть через четверть часа.

Торвальд Вейр сидел за столом и чистил яблоко.

Это была одна из тех вещей, которых про него не знал ни-

кто за пределами семьи. Отец сам чистил себе яблоки, каждое утро, маленьким кривым ножиком с роговой ручкой. И кожура всегда сходила одной лентой, длинной, ровной, спиралью на фарфоровое блюдце. В шесть лет Кассиан пытался повторить и разрезал себе большой палец. Отец тогда посмотрел на кровь, потом на него и сказал: «Не спеши. Всё, что чистишь, должно чувствовать, что ты не спешишь».

Тогда он не понял. Сейчас понимал слишком хорошо.

— Садись, — сказал Торвальд, не поднимая головы. — Хлеб на подносе, мясо сегодня жёсткое. Повара надо высечь, но с другой стороны, другой будет ещё хуже.

Кассиан сел. Хлеба не взял.

На столе перед отцом, кроме яблока, стояли чернильница, стопка писем с чужими печатями и маленький серебряный стаканчик, размером с напёрсток. В нём мутно зеленела настойка. Холодный корень, только крепче любого, что давали Кассиану. Вытяжка на спирту, такая, что одним глотком можно успокоить быка. Отец пил её каждый час, по часам на камине. Второй десяток лет.

Ножик скользил по яблоку. Кассиан смотрел на отцовские пальцы. Длинные, красивые, с ровно подстриженными ногтями. Ногти были чёрные. Не грязные и не крашеные, а чёрные изнутри, от лунки до края, гладкие и блестящие. Так холодный корень берёт плату за двадцать лет. На людях отец носил перчатки. Дома, при сыне, не утруждался.

Кассиан помнил, как они были розовыми. Помнил смут-

но.

— Твоя сосудица вчера гуляла по дому, — сказал Торвальд.

Вот так он и сказал: «сосудица». Ласково, как про кошку.

— Гуляла.

— Хальд дала ей правила. Первое из них она нарушила не позже чем через час. — Ножик остановился. Торвальд поднял глаза. Светлые, водянистые, доброжелательные. — Её видели в галерее. У часов Хельма. В кухонном коридоре. Две прачки просили расчёта. А потом она пришла к тебе на песок, и песок задымился. Гарет сказал, что ты не горел так с прошлой зимы.

Значит, Гарет. Кассиан не удивился. Гарет никогда не врал отцу, и именно поэтому отец держал его тридцать лет. Но Гарет также никогда не говорил больше, чем спрашивали. Отец знал про дым. Отец не знал про ключ от северной башни.

Надо полагать, что не знал.

— Мы поспорили, — сказал Кассиан. — Это не повторится.

— Конечно, повторится. — Отец даже не повысил голоса. Он никогда не повышал. В детстве Кассиан мечтал, чтобы он хоть раз заорал, тогда было бы понятно, чего бояться. — Она с нижнего города, Кассиан. Там детей не воспитывают, там их кормят, если повезёт. У неё есть язык, гордость и золотая печать, которую ей вручили по ошибке. И теперь

у неё есть ты. Она будет дёргать за верёвку столько, сколько ты позволишь.

— У верёвки два конца, — сказал Кассиан. — Дёрнет она, больно мне. Дёрну я, больно ей.

— Два. — Отец вернулся к яблоку. Лента кожуры удлинилась ещё на палец. — Но тянет тот, кто тяжелее. Пока что тяжелее она. Она знает, что ты без неё сгоришь. А ты ещё не понял, что она без тебя сдохнет. Не от жара, разумеется. От того, что сдохнешь ты. Вы оба привязаны к одному колышку, но колышек сейчас стоит на твоей земле. Понимаешь?

— Понимаю.

— Не понимаешь. — Ножик дошёл до конца. Кожура соскользнула на блюдце, целая. — Короткий поводок, Кассиан. Из крыла она выходит только с тобой или с Хальд. Никаких прогулок по галереям. Никаких разговоров с посудомойками. И никаких споров на людях. Хочешь ругаться, ругайся за закрытой дверью. Думаю, там она скоро перестанет с тобой спорить.

Он сказал это настолько спокойно, что Кассиан не сразу понял, что именно сказано. А когда понял, подкова под рёбрами качнулась к белому.

На другом конце связи, где-то далеко наверху, в северной башне, что-то вздрогнуло в ответ. Как рука, которая держала что-то тонкое и острое и вдруг сорвалась. Она чистила там свои резцы второй день. Весь вчерашний день он чувствовал эту тихую ровную работу чужих пальцев. Почти успокаива-

ющую.

Он заставил подкову остыть. У него получилось не сразу.

— У тебя дрожит ноздря, — сказал отец с интересом. — Левая. Как у матери. Она тоже никогда не умела злиться молча.

Кассиан молчал. Про мать отец вспоминал раз в год, и всегда как сейчас: между делом, точно и больно, туда, где ещё не зажило.

Торвальд взял серебряный стаканчик, опрокинул, не поморщившись. Потом отодвинул в сторону блюдце с кожурой и приподнял край суконного бювара.

Кассиан знал, что там. Все Вейры знали. Но отец показывал ему это всего трижды, и каждый раз перед тем, как сказать что-то важное.

На тёмном дубе столешницы, под сукном, были выжжены две ладони. Широко расставленные, с растопыренными пальцами, угольно-чёрные, в дерево на глубину ногтя. Так упираются в стол, когда хотят встать и не могут. Между ладонями дерево было светлее, прямоугольником. Тут лежал лист бумаги, и огонь забрал его первым.

— Твой дед, — сказал Торвальд. — Тридцать лет. Тогда этот стол стоял в малой столовой, я потом велел перенести его сюда. Мой отец сел за него обедать, а вместо обеда велел подать бумагу и чернила. Хотел написать письмо. Слуга принёс суп через час. Уронил прямо в дверях. От отца осталось столько, что хоронили в детском гробу. — Отец сказал это

совершенно ровно. — Мне было восемь. Я сидел напротив и ждал, когда принесут суп. Думал, он просто задумался.

Кассиан не знал этого. Про то, что отец сидел напротив. Трижды он слышал эту историю, и ни разу в ней не было восьмилетнего Торвальда.

— Знаешь, кому он писал?

— Ты никогда не говорил.

— Своему сосуду. — Торвальд опустил бювар обратно и аккуратно разгладил, чёрными ногтями по зелёному сукну. — Она ушла от него за месяц до этого. Он давал ей ходить по дому. Давал ей книги, давал ей работу. Позволял спорить. Он верил, что сосуду нужно что-то кроме крышки. И однажды ночью сосуд вышел через дверь, которую запирать было невежливо. А через месяц дед сел писать ей письмо, чтобы она вернулась. Не дописал.

В кабинете было так тихо, что слышно было, как на камине идут часы, единственные во всём замке, которые отец позволял заводить. По ним он пил свой корень.

— Так что не говори мне про верёвки с двух концов. — Торвальд взял очищенное яблоко, осмотрел и протянул сыну. Белое, влажное, беззащитное. — Съешь. Ты ничего не ел со вчерашнего утра, и не спал. Это видно.

Кассиан взял яблоко. Не взять было нельзя.

— В пятницу приведёшь её сюда, — сказал отец уже другим голосом, деловым, и потянулся за письмами. — Утром, до завтрака. Я хочу на неё посмотреть.

— Ты её видел на Совете.

— Я видел, как она грубит старухе Арден. Это не то. — Торвальд сломал печать на первом письме. — Мне нужно знать, сколько в ней. На сколько её хватит. Ты мой единственный наследник, Кассиан, и я не собираюсь ставить твою жизнь на лошадь, чей возраст я не проверил по зубам.

Единственный. Кассиан сжал яблоко, и под пальцами стало мокро. Отец никогда не говорил «старший». Говорил «единственный», с той самой зимы, когда в склепе появился маленький гроб без имени. И каждый раз получалось так, будто это Кассиан ему и задолжал.

— Зачем тебе знать, сколько в ней?

Торвальд поднял глаза от письма. И улыбнулся, так же мягко, как улыбался прачкам и послам.

— Затем, что через две недели бал у Дэллей, сын. И твоя невеста захочет знать то же самое. Лучше, чтобы я узнал первым. Иди. И ещё, Кассиан. В следующий раз, когда пропустишь удар из-за неё, вспомни, что синяк теперь тоже делится на двоих. И береги себя, если уж не можешь беречь её.

На пороге Кассиан понял, что так и держит яблоко в руке. Полураздавленное, с отпечатками пальцев. Он выкинул его в окно на повороте лестницы. Окно выходило на обрыв, и яблоко летело долго.

День он прожил назло.

Именно так он это и придумал, когда шёл от отца по лестнице: целый день не подходить к ней ни на шаг. Не искать.

Не слушать. Доказать себе, что он ещё человек, а не стрелка компаса. В десять лет он так же спорил с собой, что целую минуту продержит палец над свечой. Продержал. Полгода потом не чувствовал кончика.

Он провёл два часа с управляющим над книгами с северных ферм, и цифры плыли. Он сделал четыре схватки с Гаретом и проиграл три. Гарет ничего не сказал, только после четвёртой опустил клинок и стал смотреть на северную башню. Долго. С выражением человека, который видит на горизонте дождь и думает, стоит ли снимать бельё.

— Что? — не выдержал Кассиан.

— Ничего, милорд. — Гарет вытер клинок рукавом. — Она вас не боится. Вас в этом доме боятся все, кроме меня и её. Я потому, что старый. А она не знаю почему.

— Потому что дура.

— Может, и так. — Гарет убрал клинок в ножны. — Только дураки обычно смотрят на меч. А она смотрела на вас.

И ушёл, чуть приволакивая правую ногу. Он приволакивал её всегда, сколько Кассиан его знал, и никогда не говорил, откуда рана.

А связь весь день тянула на север.

Не больно. Хуже. Привычно. Там, наверху, кто-то целый день что-то точил, чертил, стирал и чертил снова. И от этой чужой мелкой работы, от её терпения, у него самого успокаивались руки.

Это было самое отвратительное.

Не то, что он без неё сгорит. К этой мысли он привык давно, ещё до неё, с детства, с галереи молодых портретов. А то, что ему с ней спокойнее. Что тело уже знает, где ей хорошо, и поворачивается туда, не спрашивая разрешения. Её саму он мог ненавидеть с чистой совестью. Она была дерзкая, злая на язык и смотрела на него так, будто он часы, которые ей принесли в ремонт, и она уже видит, что внутри всё сгнило. Ненавидеть её было просто.

А себя рядом с ней он ненавидел так, что темнело в глазах.

Хальд нашла его вечером в оружейной, где он в третий раз за день точил и без того острый кинжал. Она вошла без стука. Хальд стучала только к отцу. Кассиана она в своё время мыла в корыте и не считала нужным менять привычки.

— Ваша подопечная просидела в северной башне с утра до темноты, — сказала она. — Обед съела там. Сама спустилась за подносом, даже не стала ждать, пока принесут. Говорит, ключ дали вы.

— Дал.

— Я так и подумала. — Хальд помолчала. Рука в перчатке лежала на ключах. — Лорду Торвальду я про башню не докладывала. Пока.

Кассиан перестал точить. Хальд докладывала отцу всё. Тридцать лет докладывала всё, до разбитой чашки.

— Почему?

— Потому что она там работает, — сказала Хальд, как будто это всё объясняло. И, судя по её лицу, объясняло. — И

ещё. Она спрашивала про библиотеку. Есть ли в замке старые списки. За год восстания.

Кинжал лёг на стол. Тихо, плашмя.

Он знал, что у неё был брат. В бумагах Совета об этом была одна строка: «Старший сын, Лиам, погиб в дни смуты». Одна строка, и он прочёл её тогда, не задерживаясь. Дни смуты. Отец называл их по-другому: «тот год, когда я навёл порядок».

— Завтра, — сказал Кассиан. — Я сам её отведу.

Хальд чуть заметно наклонила голову. Не согласие и не поклон, а что-то среднее, чем старые слуги отвечают на решения, которые считают правильными. Она уже взялась за дверь, когда он спросил:

— Хальд. Сколько ключей было от внутренней двери?

Она не обернулась. И по тому, как долго она не оборачивалась, стало понятно, что вопрос ей не понравился.

— Два, милорд. Для двери с двумя скважинами всегда делают два. Один для лорда, другой для дома.

— И где другой?

— Пропал. — Хальд открыла дверь. Ключи на поясе звякнули и сразу затихли, будто она придержала их ладонью. — Давно. В ту зиму, когда нас оставил лорд Эдмунд. Я тогда была девчонкой на кухне, мне таких вещей не говорили. Спокойной ночи, милорд.

И ушла.

Кассиан долго сидел в оружейной над своим кинжалом.

В ту зиму, когда умер дед. Когда сосуд деда ночью вышел через дверь, которую было невежливо запирать.

И унёс, значит, с собой ключ. А теперь ключ вернулся в замок, через сорок с лишним лет, и лежит у дочери часовщика под подушкой. Или за воротом. Там, где она носит всё, что боится потерять.

Спросить её он не мог. Спросить значило признаться, что он стоял той ночью по другую сторону двери. Слушал. Считал её вдохи.

Он скорее сгорит.

Ночью он не лёг.

Поставил свечу на пол у низкой двери и сел рядом. С той стороны была ровная тишина: усталая и тяжёлая. Жар сидел в нём тихо и почти вежливо. Наверное, потому, что он сидел тут. В двух пальцах дуба от неё. Он весь день старался держаться подальше, а теперь сидел вплотную и даже не пытался придумать себе оправдание.

Позавчера, в ночь после обряда, он уже входил в эту дверь. Один раз. Она спала поперёк кровати, в платье, с разрезанной ладонью, и кровь на пальцах у неё запеклась чёрной коркой. Камин погас. В комнате было так холодно, что изо рта шёл пар. Он растопил камин, потому что так было разумно. А потом сел на край кровати, взял её руку и перевязал так, как научил Гарет: в три оборота, узелок на запястье, чтобы не терло в сгибе. Тоже потому, что разумно. Если рана воспалится у неё, она воспалится и у него.

Она не проснулась. Только пальцы в его ладони чуть сжались, и весь жар, скопившийся за день, сошёл с него разом. Он сидел и держал её за руку дольше, чем следовало. Гораздо дольше.

А вчера она спросила его на песке, он ли это сделал. И он сказал «нет», не думая, так захлопывают дверь перед сквозняком. Он до сих пор не понимал зачем. И очень надеялся, что она тоже не поняла.

Хотя она была дочерью часовщика. А часовщики, говорят, слышат каждый пропущенный тик.

Кассиан снял с шеи шнурок и посмотрел на свой ключ. Всё было очень просто. Если вставить ключ в скважину со своей стороны и оставить, её ключ с той стороны больше не войдёт. Дверь станет просто стеной. Она ничего не узнает, а если и узнает, так даже лучше. Отец сказал бы, что это и есть короткий поводок.

Он вставил ключ в скважину. Без звука, медленно, палец за пальцем.

Посидел так, с ладонью на холодной головке ключа, сколько выгорает свеча на два пальца.

И вынул.

Зачем, он так и не понял. Знал только, что теперь у двери два ключа, по одному с каждой стороны. И что кто из них повернёт свой первым, тот и проиграл.

Глава 5

Глава 5. Реестр Крови

Утром в дверь постучали. В обычную, из коридора. И не так, как стучала Хальд, один раз и сразу внутрь. Два раза. Потом длинная пауза.

Мира знала, кто там, ещё до того, как открыла. Связь под рёбрами не тянула, как вчера, а лежала спокойно. Значит, он рядом. Противная штука, эта связь. Всё про него рассказывает раньше, чем надо.

Кассиан стоял в коридоре в тёмном камзоле, застёгнутом до горла, и выглядел так, будто не спал две ночи. Под глазами синело. Синяк на рёбрах виден не был, но Мира знала, где он, с точностью до пальца. У неё был такой же.

— Библиотека, — сказал он вместо доброго утра. — Хальд сказала, ты спрашивала.

— Спрашивала. У Хальд.

— Хальд не может тебя туда отвести. А я могу.

И всё. Ни «если хочешь», ни «идём». Просто стоял и ждал.

Мира взяла с кресла шаль. Платье на ней было всё то же, своё, с побледневшим пятном на груди. Серое в синей окантовке так и лежало на кресле, сложенное уголок к уголку. Кассиан посмотрел на него, потом на неё и ничего не сказал. Но по связи прошло что-то короткое, сухое. Похожее на смешок, который не дошёл до горла.

Шли они молча. Он на полшага впереди, она сзади. Как

гусь и гусыня, сказала бы Тесса. Тесса бы ещё и загоготала на весь коридор. Мира вдруг так остро захотела её увидеть, что защипало в носу, и пришлось считать шаги, чтобы отвлечься.

До библиотеки было триста двенадцать шагов. Две лестницы, галерея с портретами и крытый переход над двором, где дуло из всех щелей и пахло дождём. И на каждом шагу Мира замечала одно и то же, и от этого злилась всё сильнее. Дышалось ей сегодня легко. Впервые за три дня.

Потому что он шёл рядом. Вот и вся причина.

Хотелось взять эту причину за шиворот и выбросить в окно.

Библиотека Вейров была круглая и высокая, в три яруса, и все три яруса связаны железными лесенками и галерейками. Свет падал сверху, из стеклянного купола, серый и рассеянный. Пахло кожей, пылью и немного котом.

Кот спал на самой большой книге в зале. Книга лежала открытой на пологом пюпитре посредине, прикованная к нему цепью с руку толщиной. Кот был рыжий, жирный, с обкусанным ухом, и лежал посреди разворота так спокойно, будто книгу приковали для него.

— Сургуч, — сказал кто-то сверху с укоризной. — Сургуч, совесть имей. Это Реестр Крови, а не печка.

По железной лесенке спускался старик. Маленький, сухонький, в серой рясе хранителя, с лупой на цепочке, которая болталась у него на груди и на каждой ступеньке стукала о пуговицу. Увидев Кассиана, он поклонился. Увидев Миру,

расцвёл. По-настоящему, всем лицом.

— Знаковед! — сказал он. — Золотая печать, я читал в ведомостях. Брат Осмунд, хранитель. Сорок лет в этих стенах, и впервые ко мне приходит человек, который умеет читать старые знаки. А то всё лорды да лорды, простите, милорд.

— Простил, — сказал Кассиан.

Мира покосилась на него. Он сказал это без всякой насмешки. Странно. На балу он сам был одной сплошной насмешкой, в чёрном и с серебром.

Он отошёл к окну, достал из кармана какое-то письмо и стал читать. Или делать вид, что читает. На письме была серебряная печать с рыбкой. Мира узнала её сразу: такие же рыбки были на пряжках туфель лорда Дэлля на Совете. Дом Дэлль.

Ну и пусть читает. У неё свои дела.

— Вы пришли посмотреть на него? — Брат Осмунд кивнул на Реестр. — Все новенькие сначала хотят на него посмотреть. Сургуч, брысь.

Сургуч открыл один глаз, оценил ситуацию и закрыл обратно. Брат Осмунд вздохнул, поднял его под брюхо обеими руками и перенёс на скамью. Кот так и не проснулся.

Реестр Крови оказался не книгой, а целым деревом.

На каждом развороте растёт один Дом. Ствол внизу, от первого предка, а дальше вверх ветки, ветки, ветки, тонкие, исчерканные именами и датами. И возле каждого имени кро-

шечное бурое пятнышко, не больше макового зёрнышка.

— Кровь, — сказала Мира.

— Кровь, — согласился Осмунд с удовольствием учителя, у которого ученик сразу нашёл ошибку в задаче. — Каждого ребёнка Дома приносят сюда на сороковой день. Укол в пятку, капля на страницу, имя рядом. И с этого дня ребёнок существует. А до этого так, не пойми что. Сорок дней, бедные крошки, и их нет ни для Империи, ни для наследства. Хотя матери, по-моему, с этим не согласны. У других Домов свои копии, но подлинник каждого разворота хранится у того, чей он. Это наш. Вейров.

Мира нашла ствол, провела пальцем по веткам, не касаясь страницы. Альрик. Ингрид. Бран. Все те, кого она считала в склепе. У каждого две даты, и между датами так мало лет, что их можно было пересчитать на пальцах трёх рук. Эдмунд, тридцать. От Эдмунда шла вверх одна ветка: Торвальд. Дата рождения, и больше ничего. Место для второй даты пустовало, и пустовало уже неприлично долго по меркам этой страницы.

От Торвальда вверх шла ещё одна ветка: Кассиан. Капля рядом с именем была такая же, как у всех, бурая и крошечная. Кровь из пятки сорокадневного младенца. Мира почему-то не могла оторвать от неё глаз. Он же кричал, наверное, когда его кололи. Тот самый человек, что стоит сейчас у окна с лицом, с которого можно начертить зиму.

А потом она увидела порез.

Рядом с каплей Кассиана, чуть ниже, на той же ветке, пергамент был срезан. Не вырван и не зачёркнут, а именно срезан, очень тонким лезвием, на глубину одного слоя. Как срезают неудачную букву с дорогого документа, чтобы не переписывать. На срезанном месте пергамент был светлее и чуть шершавый. Размером ровно с одно имя. Короткое.

Мира не подняла голову. Но по связи почувствовала, как у окна кто-то перестал читать. Письмо так и висело в его пальцах, а сам он застыл.

Она не спросила. И не потому, что была добрая, а потому, что знала, как это, когда тебя спрашивают про человека, чьё тело так и не вернули. Пусть с ним это сделает кто-нибудь другой. Она не будет.

— А пустокровые? — спросила она Осмунда. Голос прозвучал спокойнее, чем она рассчитывала. — Нас сюда тоже вписывают? Или мы не существуем даже после сорокового дня?

Старик смутился. По-настоящему, даже уши порозовели.

— Вписывают, — сказал он. — В приложение. Тех, кого распределили на службу Дому. Вот.

Он отлистал в самый конец, туда, где деревья кончались. После них была тонкая тетрадка, пришитая к корешку грубой ниткой. Бумага в ней была простая, не пергамент. Никаких веток. Просто столбик: имя, откуда, с какого года и в каком качестве. Боец. Целитель. Счётчик. Счётчик. Боец. Капель крови тут не было. Пустокровым кровь, видимо, не

полагалась даже на бумаге.

Последняя запись была свежая. Чернила ещё блестели, так, как блестят первые дни, пока не впитаются.

«Мира Остен, дочь Эмиля Остена, часовщика. Нижний город, Лудильный переулок. Тихая кровь. Под опекой Дома Вейр по приговору Двенадцати».

И всё. Ни слова про золотую печать. Ни слова про знаковедение, про пять лет Коллегии, про бессонные ночи над чертежами при огарке. В графе «в каком качестве» у неё стояло свойство крови. Так в аптечной тетради пишут про траву: «жаропонижающее».

Мира долго смотрела на строчку. Потом аккуратно закрыла приложение и повернулась к старику.

— Списки погибших в восстание, — сказала она. — Двадцать лет назад. Они у вас есть?

Брат Осмунд не ответил. Он посмотрел через её плечо, на окно. Спрашивал разрешения, поняла Мира. Не у неё.

У окна не шевельнулись. Потом Кассиан сложил письмо пополам, ещё раз пополам и сунул во внутренний карман.

— Дайте ей, — сказал он, не оборачиваясь.

Осмунд тяжело вздохнул и полез по лесенке на третий ярус. Лупа стучала о пуговицу на каждой ступеньке. Мира считала. Двадцать семь.

Он вернулся с папкой. Обычной, из серого картона, завязанной тесёмкой. На обложке кто-то вывел аккуратным канцелярским почерком: «Год порядка».

Не «восстание». Не «смута», как в газетах, и не «кровавая весна», как в нижнем городе. Год порядка. Так называют время, когда в доме наконец вымыли полы и выбросили старое.

Мира развязала тесёмку. Пальцы слушались плохо, хотя в библиотеке было тепло.

Листы были расчерчены на графы, как складская опись. По районам. Рыбный ряд. Кожевенная слобода. Старые доки. Имя, возраст, адрес, и в последней графе причина. Убит при штурме. Убит при штурме. Повешен по приговору. Сгорел. Сгорела. Утонул. Сгорели (семья, пять человек, дом на углу). Почерк был тот же, что на обложке, ровный, наклонный, без единой кляксы. Канцелярист ни разу не задумался, перед тем как написать «семья, пять человек». Ни разу не посадил пятна.

Лудильный переулок был на девятом листе.

Имен там было немного, переулок короткий. Мира знала почти все. Берт, семнадцать лет, сын жестянщика. Убит при штурме. Старый Берт потом ещё много лет чинил всему переулку чайники и вёдра, и Мира ни разу не слышала от него, что у него был сын. Вдова Тильда с угла, та, что пекла лучшие в переулке крендели и никогда не брала с Миры денег. Теперь понятно почему. Она тоже была вдова одной строчки в этой папке.

И третье снизу.

«Остен, Лиам. Девятнадцать лет. Лудильный переулок,

дом с часами».

Дом с часами. Канцелярист не знал номера и написал так, как ему объяснили соседи. Отец тогда уже повесил над дверью вывеску, большие деревянные часы с нарисованными стрелками, на без десяти два. Они до сих пор там висят. Каждую весну отец подкрашивает стрелки.

А в последней графе ничего не было.

Не «убит». Не «повешен». Не «сгорел». Пусто. Канцелярист, который ни разу не задумался над «семьей, пятью человеками», тут вдруг не нашёлся, что написать. Или ему не велели.

Нет. Не совсем пусто.

Мира наклонилась ниже. Брат Осмунд без слов снял с шеи лупу и протянул ей.

В самом углу графы, мелко, не больше буквы, был нарисован знак. Круг, в нём второй круг, поменьше, и короткая черта сверху вниз, до середины. Как ведро на верёвке, опущенное в колодец.

Знаковед не может не узнать такой знак. Это была одна из тридцати старых буквиц, с которых в Коллегии начинают первый курс: «колодец». В печатях она означает глубину, запас, место, куда уходит излишек. В землемерных книгах, колодец. В кладбищенских, общую могилу. А ещё так, в старых трактатах, называли тихую кровь. Колодезную.

Мира перевела лупу вверх по столбцу. Потом перелистнула. Потом ещё. Пальцы теперь слушались отлично, даже

слишком. Одиннадцать листов. Шестьсот с лишним имён. И семь пустых граф. У каждой в углу был колодец.

Семь. Из шестисот.

Отец никогда не говорил, какая кровь была у Лиама. Ни разу. Мира думала, что никакой. Обычная, красная, как у всех в переулке. А если нет? Если отец так страшно замолчал в тот вечер, когда она пришла с бала с обожжённой рукой, не потому, что испугался за неё? А потому, что уже видел такое. Один раз. Двадцать лет назад.

Или колодец означает просто общую могилу. И тогда понятно, почему тело не вернули. Из общей могилы не возвращают.

Мира не знала, какой из двух ответов страшнее. Она стояла над серой папкой и чувствовала, как под рёбрами, с той стороны связи, от окна идёт пристальное внимание. Как взгляд в затылок, только изнутри.

— Что там? — спросил Кассиан.

Он так и стоял у окна, спиной к ней. Но спросил так, как спрашивают человека, который вдруг побелел на ровном месте.

— Ничего.

Она сама услышала, как под рёбрами что-то пропустило тик. И услышала, как он это услышал. Ну и пусть. Вчера он соврал ей про повязку. Теперь они квиты. Один пропущенный тик за другой.

Она закрыла папку и завязала тесёмку бантиком, как бы-

ло. Страницу она не переписывала. Зачем, если она уже всё запомнила. Все семь имён, все адреса, все семь колодцев. Золотая печать иногда бывает проклятием. Забыть эту страницу она теперь не сможет, даже если захочет.

— Спасибо, — сказала она брату Осмунду и отдала ему лупу.

Старик посмотрел на неё поверх лупы и сказал тихо, так, чтобы у окна не услышали:

— Приходите ещё. У меня на третьем ярусе целый шкаф старых трактатов про знаки. Их никто не читает. Кроме Сургуча, разумеется.

Назад они шли так же, молча. Триста двенадцать шагов. В крытом переходе над двором Кассиан вдруг остановился, и Мира чуть не врезалась ему в спину.

— Я не знаю, как умер твой брат, — сказал он, не оборачиваясь. — Если ты думаешь, что знаю. Мне было семь лет.

Мира посмотрела на его затылок. На тёмные волосы, которые обрезали короче, чем надо, и на белую полоску кожи над воротом.

— Я ничего не думаю, — сказала она. — Мне было четыре.

Он кивнул, будто это всё решало, и пошёл дальше. А по связи до самого восточного крыла шло то, чего он не сказал. Не словами. Словами связь не умела. Тяжестью.

Не знает, значит. Но что-то знает.

Заснула она поздно. Сначала перебирала в голове семь

имён. Потом слушала тишину за низкой дверью. Тишина была спокойная, ровная, и никакого жара в ней не было. Сегодня он целый день был рядом. Наверное, поэтому.

А потом ей приснился сон.

Сон был не её.

Она поняла это не сразу. Сначала была только темнота, тёплая и густая. Потом руки. Большие, с длинными пальцами, с полосой льна на правой ладони. Она смотрела на них и знала, что это её руки. И знала, что нет.

Руки лежали на дубе. На низкой дубовой двери, по обе стороны от чужой головы. А голова была очень близко, всего в ладони, и от волос пахло мылом и пылью старых книг. Тёмные волосы, не заплетённые, рассыпались по плечам. Серые глаза смотрели снизу вверх, не насмешливо. Совсем не насмешливо. На груди, поверх старого платья, бледнело пятно цвета слабого чая.

Мира смотрела его глазами на себя.

И хотела его телом себя.

Это было не то желание, которое девчонки в Коллегии обсуждали шёпотом после отбоя, хихикая в подушки. То было лёгкое. А это было тяжёлое, тёмное, старое, и держали его так долго, что оно стало похоже на боль. Оно сидело низко, там же, где его подкова. Только подкова жгла и ничего не просила, а это просило. Требовало.

Рука с дуба перешла на её подбородок. Не так, как брал её за подбородок Торвальд, чтобы повернуть к свету и по-

смотреть, нет ли трещины. Другая рука и другая сила. Большой палец прошёл по её нижней губе, медленно, от уголка до уголка, и губа подалась. Разомкнулась. В сне девушка у двери не отвернулась. В сне она поднялась на цыпочки сама.

Он не поцеловал её в губы. Он наклонился к её шее, туда, где под ухом бьётся жилка, и просто дышал там. Долго. А она дрожала под его дыханием, и сама же, другая сама, изнутри его головы, чувствовала, что дрожит и он. Потом губы. Под ухом. Ниже. У края воротника, где первая пуговица. Пуговица поддалась. Вторая.

Забинтованную руку он взял за запястье и поднял к лицу. Поцеловал узелок. Тот самый, в три оборота, чтобы не терло в сгибе.

И девушка у двери сказала его имя. Не «милорд» и не «Вейр». Имя. Так, как Мира его ни разу в жизни не произносила и никогда не произнесёт. Низко, с придыханием, как просьбу.

И он ответил ей так, что у Миры изнутри всё сжалось, сладко и больно, до дрожи в коленях...

Она проснулась сидя.

Рубашка прилипла к спине. Сердце колотилось так, будто у него сорвало спуск, и оно раскручивалось даром, без счёта. И тело. Тело было её, но оно ещё помнило, что не досмотрело, и никак не хотело с этим смириться.

Мира сидела в темноте и дышала ртом.

Сон был про неё. Он видел во сне её. Не какую-нибудь

красавицу с бала и не свою серебряную Дэлль с рыбками. Её. С пятном на платье и повязкой, про которую он сказал «нет». И которую во сне целовал так, будто сам её завязал.

И в эту самую секунду, когда она это поняла, по ту сторону стены он проснулся тоже.

Она почувствовала это очень ясно. Сначала растерянность, тёплая, сонная, ещё оттуда. Потом, сразу за ней, ужас. Настоящий, холодный. Он понял, что сон ушёл не в пустоту. Что его смотрели вдвоём.

А потом связь захлопнулась и стала глухой и пустой.

А ещё через минуту у Миры во рту появился вкус.

Ржавый, земляной, горький. Как старый гвоздь, который пролежал зиму в мокрой земле. Она никогда в жизни не пробовала холодный корень. Но точно знала, что это он. Потому что там, за стеной, он пил его стакан за стаканом, до дна. Чтобы затушить то, что ещё тлело. Чтобы больше не видеть снов.

Или чтобы их больше не видела она.

Мира легла обратно, лицом в подушку, и лежала так до самого утра с этим вкусом во рту. Двадцать четыре года ей везло: никто и никогда не слышал, о чём она думает. А теперь кто-то в трёх шагах от неё травил себя горечью, лишь бы она не узнала, что он думает о ней.Хуже всего было то, что она уже узнала.

Глава 6

Глава 6. Ладонь к ладони

Утром у Миры дрожали руки.

Не сильно. Так, что никто бы не заметил. Но она села за верстак в северной башне, взяла самый тонкий резец и не смогла провести ровную линию длиной в палец. Линия выходила кривой и дрожащей, будто её чертили в трясущейся телеге. Знаковед с такой рукой не прорежет даже печать на курятник.

Руки были не её. То есть её, конечно. Но дрожь была чужая. Она поняла это сразу и не захотела понимать дальше. Дальше была ночь. Дальше был сон, и дубовая дверь, и вкус ржавого гвоздя во рту, который так и не ушёл до рассвета.

Она не собиралась об этом думать. Она решила это ещё в темноте, лицом в подушку. Сон был чужой, и пусть лежит там, где взялся. В чужой голове. У неё своих дел хватает.

У неё семь колодцев в серой папке.

Мира положила резец, взяла грифель и стала писать на обрезке картона. Семь имён. Семь адресов. Кожевенная слобода, два. Старые доки, один. Рыбный ряд, два. Лудильный переулок, один. Северная сторона, один. Буквы прыгали. Даже собственный почерк сегодня делал вид, что ей не принадлежит.

К седьмому имени её затошнило.

Тоже не сильно. Как бывает, когда тебя долго везли в ка-

рете спиной вперёд. Мира отложила грифель и положила ладони на холодный верстак. Посидела. Тошнота не проходила. И вкус во рту был всё тот же.

Сколько же он выпил?

Внизу, на лестнице, кто-то поднимался. Шаги были неровные: один твёрдый, один шаркающий, один твёрдый, один шаркающий. Потом пауза. Тяжёлое дыхание. Потом снова. Мира считала паузы. К самому верху их набралось девять.

В дверь без стука вошёл Гарет. Седой, широкий, мокрый от дождя и от лестницы. В руке у него была мятая жестяная фляжка.

— Сто сорок одна, — сказал он вместо приветствия и тяжело опустился на табурет у двери. — Я считал. Милорд говорит сто сорок. Милорд всегда был невнимателен к мелочам.

Он отвинтил фляжку, отпил и протянул ей. Мира понюхала. Чай. Чёрный, чуть тёплый и такой сладкий, что сахар в нём, наверное, стоял столбиком.

— Спасибо, не нужно.

— Нужно. Пейте. Сладкое отбивает вкус корня. Я потому и кладу четыре куска. Лекарь велит два, но лекарь сам этот корень ни разу не пил.

Мира медленно поставила фляжку на верстак.

— Вы тоже его пьёте?

— Я? — Гарет даже удивился. — У меня кровь крас-

ная, как у всех порядочных людей. Я разносил его. Сорок с лишним лет назад я был мальчишкой при оружейной, и самая скучная моя работа была таскать корень лорду Эдмунду. Расплескал через раз. И сахар клал он сам, кстати. Я у него научился.

Сорок с лишним лет. Мира посмотрела на него иначе. Значит, он застал Эдмунда живым. Застал тот дом, где в этой самой башне ещё работал печатник, а в восточном крыле кто-то жил в комнате сосуда. Ключ за воротом вдруг стал тяжелее.

Спросить? Спросить значило показать, что у неё есть что спрашивать.

Она взяла фляжку и отпила. Чай был такой сладкий, что заныли зубы. И ржавчина во рту почти сразу отступила.

— Сколько он выпил?

— Пять. — Гарет сказал это спокойно. — За одну ночь. Лекарь позволяет три. Руки у него с утра трясутся так, что он не смог пристегнуть шпору. Ваши, смотрю, тоже. — Он кивнул на картон с прыгающими буквами. Читать он, кажется, не стал. И на том спасибо. — Если так пойдёт и дальше, к весне у него будут ногти как у отца. А у вас, сударыня, я не знаю. Про тихих никто толком не знает.

Мира посмотрела на свои ногти. Розовые. Пока.

— Зачем он столько пил?

Гарет долго смотрел на неё из-под седых бровей. Так смотрят на человека, который задал вопрос и сам знает от-

вет, и просто проверяет, скажешь ли ты его вслух.

— Это вы у него спросите, — сказал он. — Я сюда не за этим залез. С моей ногой, сударыня, по этой лестнице ходят не за разговорами, а за делом. Дело такое. Завтра на рассвете вы спускаетесь в старый фехтовальный зал. Не на песок, там народ ходит. В зал под западной галереей, туда никто не заглядывает лет двадцать. И милорд тоже спускается. И мы начинаем учиться.

— Учиться чему?

— Держать его жар, — сказал Гарет. — У вас сейчас как? Он горит, терпит, терпит, потом не выдерживает, и всё разом в вас, как ведро в колодец. Или не в вас, а в корень и в свои ногти. А вы сидите здесь с трясущимися руками и делаете вид, что вас это не касается. Так нельзя. Так он сгорит за год, а вы вместе с ним.

— А как можно?

Гарет помолчал. Потом посмотрел в окно, туда, где за дождём темнело восточное крыло.

— У лорда Эдмунда было можно, — сказал он. — Каждый день, на рассвете, полчаса. Я стоял у двери с фляжкой и считал, чтобы не передержали. Он и она. — Старик вдруг осёкся. — Неважно. Давно было. На рассвете, сударыня. И наденьте что-нибудь с коротким рукавом, если есть. Локти тоже понадобятся.

Он поднялся, забрал фляжку, подумал и поставил обратно на верстак.

— Оставлю. К вечеру он ещё раз приложится, увидите.

И ушёл. Твёрдый шаг, шаркающий. Твёрдый, шаркающий. Мира долго слушала, как он спускается.

Он и она.

Имени он не назвал. Но за воротом у Миры лежал ключ, на бирке которого имя было нацарапано чем-то острым.

К вечеру вкус ржавчины вернулся. Мира допила сладкий чай до дна.

Старый фехтовальный зал оказался длинным сводчатым подвалом с окнами под самым потолком. Через них было видно только ноги проходящих по галерее и серый рассвет. На стенах висели ржавые крюки для клинков. Клинков не было. В дальнем углу стояло чучело медведя, вставшего на задние лапы, и кто-то когда-то надел на него женскую соломенную шляпку с лентой. Лента выцвела. Шляпку так никто и не снял.

Кассиан уже был там. Стоял у стены в рубашке с закатанными рукавами и смотрел на медведя так, будто медведь ему что-то должен. Руки у него были скрещены на груди. Мира поняла зачем, едва вошла: чтобы не было видно, как они дрожат. Свои она спрятала в складках юбки по той же причине.

На неё он не посмотрел. Ни разу. Связь между ними тоже притихла. Об этой ночи он не сказал ни слова. Она тоже. Оба делали вид, что ночи вообще не было.

Гарет поставил посреди зала два табурета, друг напротив

друга, а между ними на пол свечу.

— Садитесь, — сказал он. — Оба. И не смотрите так на меня, милорд, вы меня с трёх лет видите.

Они сели. Колени почти касались. Свеча между ними горела неровно, от неё было мало света и много теней.

— Теперь руки. Ладонь к ладони, над огнём. Как на обряде. Правая к правой.

Повязки оба сняли ещё вчера. Порезы затянулись, остались розовые выпуклые полоски поперёк ладони. У неё первая. У него поверх старого белого шрама, так что теперь там был один шрам в два цвета, белый по краям и розовый посередине.

Мира подняла руку. Он тоже. Воздух между их ладонями был в палец и стал вдруг таким плотным, что его пришлось продавливать. Шрам лёг на шрам.

И жар хлынул в неё целиком.

Весь, разом. Колодец внутри неё раскрылся навстречу сам, никто его не спрашивал, и стал глотать. Жадно. Без дна. И первые секунды это было даже хорошо, как бывает хорошо на морозе от кружки горячего чая. Потом стало тесно. Потом жарко. Потом очень жарко, под грудиной, в горле, за глазами, и по спине потёк пот.

Свеча между ними вытянулась вверх тонкой синей ниткой и затрещала.

— Стоп, — сказал Гарет. И без всяких церемоний разнял их руки, взяв каждого за запястье.

Мира согнулась на табурете. В ушах звенело. Лицо горело, как после бани, и впервые в жизни ей захотелось снять платье и лечь на холодный каменный пол. Напротив Кассиан сидел прямо, как струна, и смотрел на свою ладонь так, будто она его укусила.

Руки у него больше не дрожали. У неё тоже.

— Вот, — сказал Гарет с непонятным удовлетворением. — Вот так делать нельзя. Милорд слил в вас всё, что накопил за ночь, как помои с крыльца. А вы, сударыня, всё это взяли и не подавились. Оба молодцы, оба дураки. Ещё пара минут, и у вас началась бы горячка. Колодец тоже можно перелить.

— Я не знала, — выдохнула Мира.

— А откуда вам знать? Вас ваша Коллегия учила чертить кружочки, а не прятать себя. — Гарет повернулся к Кассиану. — А вы, милорд, знали. Вы всегда всё держите до последнего, а потом разом. В драке так же. Я вам пятнадцать лет про это говорю.

Кассиан молчал. Но по связи прошло что-то, очень похожее на стыд. Не за себя. За неё. За то, что у неё горит лицо.

— Ещё раз, — сказал Гарет. — Только теперь так. Милорд отдаёт по чуть-чуть. Тонкой струйкой, как из чайника, а не из ведра. А вы, сударыня, берёте не всё, что дают. Ваш колодец думает, что он бездонный, и врёт. У него есть крышка. Найдите её и прикройте, наполовину.

— А если не найду?

— Тогда завтра попробуете снова, — спокойно сказал Га-

рет. — Вы же с первого раза и печать не начертили.

Начертила, хотела сказать Мира. С первого. В десять лет, на отцовском верстаке, печать от мышей, и мыши потом полгода обходили их дом стороной. Но промолчала. Вместо этого снова подняла руку.

Во второй раз вышло хуже. Он попробовал отдавать по чуть-чуть и не смог. Жар в нём не умел течь струйкой. Он умел два состояния: заперто и настежь, и каждый раз, когда он пытался приоткрыть, настежь и получалось. А у Миры не было никакой крышки. Был только колодец, тёмный, холодный, и он хотел пить.

В третий раз Гарет разнял их через восемь ударов сердца.

В четвёртый не пришлось.

В четвёртый Мира закрыла глаза, потому что смотреть на него было хуже, чем на медведя в шляпке. И в темноте, внутри, представила не колодец. Часы. Старые настенные часы из отцовской мастерской, с гирей на цепочке. Гиря опускается не сама по себе. Её держит спуск: тик, и на зубец вниз, так, и ещё на зубец. Не быстрее. Никогда не быстрее.

Тик. Так.

И вдруг почувствовала, что жар идёт по зубцу. Не стеной, а каплями. И что это делает не он. Это делает она. Её спуск. Её тик.

А потом почувствовала то, чего не ждала. Что он слышит её тик. И подстраивается под него. Неуклюже, первый раз в жизни. Но подстраивается.

Свеча между ними горела ровно. Жёлтым. Обыкновенным жёлтым свечным огнём.

— Ну вот, — сказал Гарет через какое-то время, и голос у него был странный, тихий. — Ну вот. Такая она и была. Ровная.

Мира открыла глаза.

Гарет смотрел не на них. Он смотрел на свечу, и лицо у него было старое, старше, чем даже кора на заскорузлом дубе. Потом он моргнул, и это прошло.

— Достаточно на сегодня, — сказал он обычным голосом. — Завтра в то же время.

На пороге Мира обернулась. Старик стоял у медведя и поправлял на нём соломенную шляпку. Аккуратно, двумя пальцами, чтобы лента легла ровно.

Шляпка была женская. Старая. И никто её не снял за все эти годы, потому что никто сюда не заглядывал. Кроме одного старика, который поправлял ленту.

На второй день Гарет стал их разводить.

Не словами, ногами. Он поставил Миру у медведя, а Кассиану велел идти к двери. Медленно, считая шаги вслух. А сам стоял между ними с фляжкой и смотрел то на одного, то на другую.

— Раз, — сказал Кассиан. — Два. Три.

До двадцати Мира ничего не чувствовала. На двадцати под рёбрами что-то натянулось. На сорока стало тянуть по-настоящему. Кассиан дошёл до двери, вышел в коридор, и

голос его стал дальше, глуше:

— Шестьдесят. Шестьдесят один.

На семидесяти Мира взялась за медведя. Медведь был жёсткий и пах пылью. На девяноста голоса уже почти не было слышно, зато было слышно другое. Боль. Не её и не его, а самой связи, той нитки, которую тянули с двух сторон. Она звенела и вот-вот должна была лопнуть.

— Хватит, — крикнул Гарет в коридор. — Назад!

Шаги пошли обратно, быстро, почти бегом. И с каждым шагом её отпускало. Кассиан вошёл, белый, с испариной на висках. Заметив её руку на медвежьей лапе, он что-то пробормотал. Кажется, «нашла с кем дружить».

— Сто десять, — сказал Гарет и полизал карандаш. В кармане у него, оказывается, жила маленькая исчёрканная книжечка. — Сто десять шагов, и дальше уже рвётся. Сейчас так. Потом растянется.

— А если не растянется? — спросила Мира. Пальцы всё ещё вцепились в медведя, и она не сразу смогла их разжать. — А если нам так и жить, в ста десяти шагах друг от друга, до самой смерти?

— Растянется, — сказал Гарет так уверенно, будто видел это своими глазами. И, похоже, видел. — Связь как кожаный ремень. Чем чаще вы рядом, тем она крепче, а чем крепче, тем дальше выдержит. Только учтите. Чем крепче связь, тем больше вы друг про друга слышите. Бесплатно ничего не бывает.

Мира посмотрела на Кассиана. Он посмотрел на неё. И оба одновременно вспомнили одно и то же, потому что связь тут же стала неловкой и горячей.

Дверь. Сон. Узелок на запястье.

Оба отвернулись. Он к стене с крюками, она к медведю.

Гарет посмотрел на обоих, вздохнул и записал что-то в книжечку. Мира готова была поклясться, что не цифры.

Потом были дни, похожие друг на друга.

Рассвет. Подвал. Медведь в шляпке. Два табурета и свеча. Ладонь к ладони, шрам к шраму. Тик. Так. Потом шаги к двери и обратно, и Гаретов карандаш. Сто двадцать. Сто тридцать пять. Растягивалось.

Говорили они мало. Он называл её «Остен», она его «лорд Вейр», и оба делали это с такой тщательностью, с какой носят полный стакан через комнату. Иногда он говорил что-нибудь холодное. Иногда она отвечала что-нибудь острое. А под словами, по связи, шло совсем другое, и оба это знали. И оба делали вид, что не знают.

Руки у него больше не дрожали. Вкуса ржавчины у Миры во рту больше не было. Значит, корень он теперь пил реже. А может, и совсем не пил. И Мира ловила себя на мелких вещах, которые она знать не должна была.

Что он не ест сладкого, но очень любит запах жжёного сахара. Что синяк на рёбрах у него пожелтел на день раньше, чем у неё. Что, когда она смеётся (а она однажды не удержалась, когда Гарет серьёзно представил ей медведя господи-

ном Рольфом), у Кассиана что-то дёргается под грудиной. Не жар. Что-то тёплое и маленькое, совсем ей сейчас не нужное.

Она перестала смеяться при нём.

На четвёртый день Гарет после первого же упражнения закрутил фляжку и пошёл к двери.

— Полчаса, — сказал он. — Без меня. Ладонь к ладони, и не разнимать. Вы теперь сами себе гиря и сами себе спуск. — Он помедлил на пороге. — И не убейте друг друга. Мне потом обоих хоронить, а у меня нога.

Дверь закрылась.

Тишина в подвале сразу стала другой. Гуще. Свеча горела ровно, медведь смотрел стеклянными глазами в стену, а их ладони лежали друг на друге, и жар шёл по зубцу, тик, так, и обоим было некуда смотреть, кроме как друг на друга.

Мира смотрела на его руку. Это было безопаснее. Длинные пальцы, старая ссадина на костяшке, тёмные волоски на запястье. Те самые пальцы. Из сна.

Плохая идея. Она подняла глаза.

Это была ещё худшая идея.

— Ты видела, — сказал он. Не спросил. Сказал.

Четыре дня они носили этот стакан через комнату. И вот он просто взял и разжал пальцы.

Сказать «нет» было нельзя: пропущенный тик он услышит так же точно, как услышала его она.

— Видела.

Он кивнул. Свеча не дрогнула, и Мира с неожиданной

гордостью отметила: их работа. Неделю назад от такого разговора у него посинели бы вены.

— Это ничего не значит, — сказал он. — Связь. Она лезет куда не просят. В сны тоже.

— Конечно.

— Тело дурак. Оно не спрашивает.

— Конечно, — повторила Мира.

Тики не пропускались. Вот что было странно. Он не врал. Он действительно так думал, или очень сильно хотел думать, а в таких вещах, наверное, часы тоже не разбираются. И от этого было так обидно, что Мира сама себе удивилась. На что обидно? Она сама думала ровно то же. Слово в слово. Четыре дня.

Она не заметила, кто из них первым наклонился вперёд. Может, никто. Может, табуреты просто стояли слишком близко, и колени касались уже совсем, и связь сделала остальное. Кожаный ремень, сказал Гарет. Чем ближе, тем крепче. Чем крепче, тем слышнее.

Слышно было всё.

Его лицо было так близко, что она видела тонкий белый шрам у виска и светлые крапинки в ледяных глазах. От него пахло полынью. И жжёным сахаром, совсем чуть-чуть, от Гаретовой фляжки. Его дыхание легло ей на губы, и губы сами разомкнулись, как во сне. Точно так же. Она помнила, как это было во сне, помнила его глазами. И чувствовала по связи, что он тоже помнит. И что он знает, что она помнит.

И что ей не страшно.

Вот это и было самое страшное.

Между их губами оставалась толщина листа бумаги, когда он остановился.

Остановился сам. Она почувствовала это точнее, чем увидела: как он себя удержал. Жёстко. И по связи, поверх тёмного и тяжёлого, скользнуло что-то холодное и мелкое. Довольное.

— Вот видишь, — сказал он тихо, прямо в её губы. — Ты тоже.

Ударила она левой. Правая была занята.

Звук вышел звонкий. Голова у него мотнулась в сторону. А у Миры в ту же секунду вспыхнула щека. Своя. Правая. Так, будто били её.

Она прижала к ней ладонь. Он прижал к своей. Одним и тем же движением, как в зеркале. И сидели так, свободными руками на одинаково горящих щеках, и смотрели друг на друга, а правые ладони, шрам к шраму, так и не разошлись. Гарет велел не разнимать.

Свеча между ними даже не дрогнула.

И это было хуже всего. Будь он в ярости, огонь бы заплясал. Значит, он не злился. Он сидел с её пощёчиной на лице и был спокоен. Он получил именно то, чего добивался.

— Так лучше, — сказал он.

И тик пропустился.

Мира услышала его очень ясно. И он услышал, что она

услышала. Лицо у него закрылось, и он сам выдернул руку, не дождавшись конца получаса.

Свеча вспыхнула синим, на миг, и погасла.

В темноте он поднялся. Табурет скрипнул по камню.

— Завтра пятница, — сказал он сверху, из темноты, своим прежним голосом, в котором не было ничего, кроме льда. — Отец хочет тебя видеть. Утром, до завтрака. Я за тобой зайду.

— Зачем?

Он не ответил. Шаги пошли к двери.

Но перед тем как дверь за ним закрылась, по связи докатилось то, чего в его голосе не было. Не обида. Не злость за пощёчину. Страх. Старый, детский, липкий, тот самый, что был в нём на обряде, перед сорока гробами и одним маленьким.

Только теперь он боялся не за себя.

Мира долго сидела в темноте напротив пустого табурета. Щека горела. Она так и не смогла решить, чья именно.

Глава 7

Глава 7. Серебро

В кабинете Торвальда Вейра было так холодно, что у Миры изо рта пошёл пар.

В нижнем городе так бывало в квартирах, где зимой нечем топить. А здесь в углу стоял огромный камин с синими изразцами, совершенно чистый. В нём, похоже, никогда не было огня. На камине шли часы. Хорошие, столичной работы, и Мира с порога услышала, что они спешат на секунду в час. Отец бы не выдержал. Отец бы тут же попросил отвёртку.

Кассиан остался у двери. За всю дорогу по лестницам он не сказал ни слова, ни про вчерашний подвал, ни про то, зачем их звали. Щека у Миры больше не горела. У него, судя по всему, тоже. Зато по связи шло что-то натянутое, тонкое, как проволока.

Торвальд не встал. Он сидел за столом в сером домашнем камзоле, и перед ним на блюдце лежала спираль яблочной кожуры. Целая, одной лентой. Мира не смогла оторвать от неё глаз. Потом с трудом оторвала и посмотрела на него. Сидеть ей не предложили.

— Доброе утро, дитя, — сказал он. — Как тебе мой дом?

Четвёртое правило Хальд: при лорде Торвальде вы молчите, пока вас не спросят. Вот спросили.

— Холодный, лорд Вейр. И часы у вас на камине спешат.

Он посмотрел на часы. Потом на неё. И засмеялся, тихо

и с удовольствием.

— На секунду в час, — сказал он. — Я знаю. Я просил, чтобы они спешили. По ним я пью корень, и мне приятно думать, что я всегда немного раньше, чем надо. Подойди.

Она подошла. До стола было девять шагов, и на каждом связь за спиной натягивалась не от расстояния, а от чего-то другого.

Торвальд снял перчатку с правой руки. Не торопясь, палец за пальцем. Ногти блеснули чёрным. Потом протянул ей руку ладонью вверх.

— Руку, дитя. Правую. Это не больно.

Сзади не шевельнулись. Но связь натянулась так, что у Миры застучало в висках.

Она положила ладонь на его. Отказаться было нельзя.

Пальцы у него были холодные. Как на Совете. Мира успела подумать, что ничего не будет, что корень сделал своё дело и от его жара остался один пепел.

А потом под холодной кожей что-то шевельнулось.

Это был не жар Кассиана. У Кассиана жар был как кузня: яркий, злой, чистый, от него болели глаза. А этот был как пожар в подвале с мокрым углём. Долгий, душный, тлеющий годами и наверх не пробивающийся. И очень большой. Гораздо больше, чем казалось по этому худому человеку с пергаментной кожей.

Колодец внутри неё раскрылся сам. Раскрылся и потянул.

И тут же, с той стороны, её потянули в ответ. Вот чего не

было ни в галерее, ни на песке, ни в подвале с медведем. Жар Торвальда не шёл в неё. Он словно примерялся. Как рука, которую опустили в ведро, чтобы узнать, сколько в нём воды. Пальцы всё глубже, глубже, нащупывая дно.

Миру затошнило. Не так, как от корня. Иначе. Так тошнит, когда в толпе чужая рука лезет в твой карман.

Она нашла крышку.

Не думала, не вспоминала уроков Гарета. Просто нашла, сразу. И захлопнула. Не наполовину. До щелчка.

Торвальд отдёрнул руку.

Не сильно, нет. Просто убрал руку. Посмотрел на свои пальцы, потом на неё. И лицо у него было такое, какого Мира ещё не видела. Не доброжелательное и не злое. Голодное.

Потом он улыбнулся, и лицо снова стало прежним.

— Глубокая, — сказал он словно сам себе и натянул перчатку. — И с крышкой. Гарет научил? Конечно, Гарет. У него всегда была слабость к старым методам. — Он посмотрел через её плечо на сына. — На десять лет её хватит, Кассиан. Может, на двенадцать, если не давать ей слишком часто наполняться. Хорошая покупка.

На десять лет. Мира стояла и слушала, как в ней самой тикают эти десять лет. На десять лет чего? Его жизни? Или её?

— А потом? — спросила она. Голос прозвучал сипло. — Через десять лет?

— А потом меня уже не будет, дитя, и это будет не моя за-

бота. — Он достал из стопки письмо с серебряной печатью. Рыбка. Мира её уже видела, в библиотеке, в руках у Кассиана. — А вот через четыре дня ты едешь на бал. Дом Дэлль празднует пробу своего младшего внука, и леди Серафина настоятельно просит, чтобы её жених привёз свою опекаемую. Вежливая девочка. Хочет познакомиться.

Жених.

Слово упало в Миру странно. Не больно. Просто тяжело. Она знала про Серафину Дэлль. Вся Коллегия знала. Половина девиц с верхних скамеек перенимали её причёски. Знала, и всё равно за все эти дни ни разу о ней не подумала. Не до неё было.

За спиной по связи не пришло ничего. Совсем ничего. Тишина, ровная и гладкая, как стена. На четвёртый день у медведя он научился делать и такое.

Мире это не понравилось больше, чем чёрные ногти.

— Я поеду в своём платье, — сказала она.

— Ты поедешь в том, что тебе дадут. — Торвальд сломал печать-рыбку чёрным ногтем, не глядя. — И будешь стоять там, где стоят опекаемые. У кресла хозяина, слева, на шаг позади. И будешь вести себя так, чтобы Дэлли увидели: Дом Вейр купил хорошую вещь. Между прочим, вещь достанется их дочери вместе с моим сыном. Они вправе посмотреть. Всё, дитя. Иди.

На пороге Кассиан пропустил её вперёд. Когда она проходила мимо, стена на связи на один удар сердца дала трещи-

ну. И в трещину просочилось то, что он держал за ней всё это время. Не за стеной. За зубами.

Если бы отец держал её руку ещё секунду, Кассиан бы подошёл и сломал ему пальцы.

Платье принесла Хальд вечером накануне бала. Не ливрею. Платье.

Серо-синее, цвета грозового неба, из тяжёлого матового шёлка. С высоким воротом, длинными рукавами и рядом мелких серебряных пуговиц на спине, которые в одиночку не застегнёшь. Покрой был старый. Такие рукава, узкие до локтя и колоколом ниже, Мира видела только на портретах и у старьёвщицы с Канатной, в самом дальнем сундуке.

— Это чьё? — спросила Мира.

— Этой комнаты. — Хальд кивнула на кедровый сундук в ногах кровати. Мира сотню раз садилась на него, чтобы снять туфли, и ни разу не подумала его открыть. — Там много чего. Я выбрала то, что сядет. Вы тонкая, на вас почти всё сядет.

Село оно так, что Мире стало не по себе. Будто шили на неё. Будто кто-то с её плечами и её талией уже носил его в этой самой комнате, стоял в нём у этого самого зеркала и так же не мог дотянуться до пуговиц.

Хальд застегнула их сама. Все двадцать семь, одной рукой, той, что без перчатки, и так быстро, словно делала это не впервые. А её пальцы ни разу не коснулись Мириной кожи. Третье правило. Слуги боятся.

Или не боятся, а просто помнят, как надо.

— Браслета на вас нет, — сказала Хальд, отступая на шаг. — Завтра это заметят все. У Дэллей опекаемые стоят в ряд у кресел своих хозяев, и у каждого на левой руке серебро. А у вас не будет.

— Это моё условие.

— Знаю. — Хальд помолчала. — Поэтому и платье с длинным рукавом. Чтобы не сразу.

Мира посмотрела на неё в зеркале. Хальд смотрела не на неё, а на платье. Долго, неподвижно, как смотрят на старый семейный портрет, где все ещё живы. Потом разгладила складку на плече, не касаясь тела, кончиками пальцев.

— Спокойной ночи, — сказала она и вышла быстрее обычного.

Мира ещё долго стояла у зеркала в чужом платье. Потом открыла сундук.

Там пахло кедром и лавандой. Платья, сложенные в стопки и переложенные тонкой бумагой. Шали. Пара туфель со стоптанными каблуками. И ни одной записки, ни буквы, ни инициала на воротниках. Кто-то очень старательно следил, чтобы ничего не осталось.

Только на самом дне, под последней стопкой, лежала сухая ветка лаванды, перевязанная выцветшей синей ленточкой. Такой же, как на соломенной шляпке у медведя в подвале.

Мира положила ветку на место и закрыла крышку очень

тихо. Сама не зная почему.

Дом Дэллей стоял на самом краю верхнего города, над заливом. Белый, гладкий, со странными закруглёнными крыльями, которые заворачивались внутрь. На воротах серебряные рыбы. На лампах рыбы. На ливреях лакеев рыбы. Даже ложечки для сахара, и те с рыбками. Мира считала их до трёхсот и бросила.

Зал был светлее, чем в Коллегии. Огни под потолком тут горели не цветами Домов, а одним серебром, и от этого все лица казались бледнее, чем были, а глаза темнее. Вдоль стен стояли кресла для глав Домов и наследников. А около кресел, слева, на шаг позади, стояли опекаемые.

Мира увидела их сразу и потом уже видела только их.

Их было много. Не тихих, тихая тут была она одна. Пустокровые счётчики, бойцы, целители. В цветах своих Домов, кто в сером с багровым, кто в сером с золотом, и у всех на левом запястье серебряный браслет с гербом. Они стояли так прямо и так неподвижно, что их можно было принять за часть кресел. Одну девушку Мира узнала. Летта, курс старше, лучшая на курсе по счёту. Она стояла у кресла молодого Морвена и смотрела в пол. В Коллегии Летта никогда не смотрела в пол.

Мира встала слева от кресла Кассиана. На шаг позади. Надо было пережить только сегодняшний вечер. Один вечер. В Коллегии бывали экзамены и длиннее.

Кассиан сидел в чёрном и смотрел прямо перед собой.

Связь со стороны его была гладкой стеной, как все эти четыре дня. Он научился её ставить настолько хорошо, что иногда Мира ловила себя на том, что скучает по его злости. Злость хотя бы честная.

Потом все встали, и в зале стало тихо.

На низкий помост посреди зала лорд Дэлль, круглый и румяный, вынес на руках мальчика лет трёх, в серебристом костюмчике с рыбками. Мальчик сосал палец и с большим интересом разглядывал дедушкину лысину. Рядом на постаменте, под стеклянным колпаком, лежал осколок. Не синий, как у Вейров. Серебряный, тусклый, с молочным отблеском.

Рядом с постаментом стоял человек в сером, с толстой книгой под мышкой и линейкой. Самой обыкновенной деревянной линейкой.

— Расчётчик из Реестра, — тихо сказал Кассиан, не поворачивая головы. Это были первые слова за весь вечер. — Мерит пламя. Потом считает, сколько стоит кровь. Для брачных договоров.

Она чуть не спросила, зачем он ей это говорит. Но тот уже опустил ладошку мальчика на колпак, и колпак запотел изнутри, а над ним вырос лепесток серебряного огня. В два пальца. В три. Расчётчик приложил линейку, сощурился и нараспев объявил:

— Три пальца и четверть! При деде пять, при отце три с половиной. Кровь Дома Дэлль держится!

Зал захлопал. Мальчик испугался хлопков и заревел.

Лорд Дэлль сиял так, будто три пальца и четверть были его личной заслугой.

Вот как, подумала Мира. А у нас в Лудильном детям просто держат свечку над ладонью. В десять лет, в храме, при сквозняке. И никто не хлопает. Все просто надеются, что не дрогнет.

Серафина Дэлль оказалась красивее всех слухов о ней. Это Мира признала сразу, хоть и неохотно.

Высокая. Пепельно-светлые волосы, уложенные высоко, и в них тонкая серебряная сетка. Платье цвета луны. И лицо спокойное, немного усталое, с умными тёмными глазами, которые видели всё, что им показывали, и ещё немного сверху.

Она подошла к креслу Кассиана, и он встал. Она протянула руку в перчатке, и он поцеловал воздух над ней, в пальце от перчатки, как положено.

И стена на связи не дрогнула. Ни на волос.

Мира стояла на шаг позади и смотрела на эту стену. Что там? Радость? Скука? То тёмное и тяжёлое, которое она слышала на песке и в подвале, только теперь для другой? Ничего не было слышно. И от этого в груди кольнуло.

Ревность, сказал в голове голос Тессы. Тесса бы ещё и пальцем ткнула.

Чушь, ответила ей Мира. Это не ревность. Это любопытство знаковеда к запертым печатям. Профессиональное.

Тесса в голове фыркнула так громко, что Мира едва не обернулась.

А потом стена всё-таки дрогнула. Только не изнутри, а снаружи. Из-за неё. Её «чушь», её ревность, её Тесса в голове. Он это услышал. Всё услышал, потому что стену он ставил со своей стороны, а со своей стороны ставить стену Мира так и не научилась.

Уши у неё загорелись так, что она была благодарна Хальд за высокий ворот.

— А это, значит, она, — сказала Серафина и посмотрела на Миру поверх плеча жениха. Голос у неё был низкий и приятный, с лёгкой хрипотцой. — Золотая печать. Дочь часовщика. И без браслета, надо же. У вас милое платье. Такие носила моя бабушка.

И улыбнулась. Очень вежливо. Совсем без злости. И всё равно сверху вниз.

Четвёртое правило, вспомнила Мира. При лорде Торвальде вы молчите. Про леди Серафину в правилах ничего не было.

— Спасибо, миледи, — сказала она. — Бабушка у вас, судя по всему, была женщина со вкусом. И с длинными рукавами. Сейчас это редкость.

Серафина чуть приподняла брови. Потом, к удивлению Миры, засмеялась. Коротко, по-настоящему.

— И с языком, — сказала она Кассиану. — Вы мне не говорили, что она с языком. Я люблю вещи с характером, они дольше служат. — Она снова посмотрела на Миру, и в тёмных глазах было что-то очень внимательное. — Надеюсь,

мы подружимся. Нам ведь жить под одной крышей. После свадьбы восточное крыло, видите ли, станет моим.

Она не сказала «нашим». Она сказала «моим». И пошла дальше, к креслу Торвальда, и тот поднялся ей навстречу с такой тёплой улыбкой, какой Мира ни разу не видела у него на лице, когда он смотрел на сына.

Кассиан сел. Стена на связи стояла ровно, как прежде. Только теперь Мира видела, что на подлокотнике его пальцы вдавились в дерево так, что лак под ними чуть дымился.

Потом были танцы.

Опекаемые не танцуют. Опекаемые стоят у пустых кресел и смотрят, как танцуют другие, этого Хальд даже не говорила, это было понятно и так. Кассиан танцевал с Серафиной. Первый танец, второй, третий. Они танцевали так, будто учились вместе с детства. Точно, красиво и совершенно без всякого тепла.

Мира считала. Шаги в менуэте. Свечи в люстре. Рыбок на лакейских пуговицах. На третьем танце она поняла, что считает ещё кое-что. Сколько раз рука Серафины ложится ему на плечо. Семнадцать. И сколько раз он смотрит в сторону кресел. Ни разу.

И что она ненавидит оба числа одинаково.

— Скучаешь, сосудик?

Пахнуло кардамоном и вином. Морвен стоял слишком близко, с бокалом в руке, и улыбался своими фарфоровыми зубами. Летта осталась у его кресла и смотрела на них изда-

лека. Лицо у неё было серое.

— Нет, лорд Морвен, — сказала Мира. — Считаю. У вас вино на манжете. Три капли.

Он посмотрел на манжету. Потом на неё. И засмеялся, громко, как на Совете, только в смехе не было веселья.

— Должен был быть мой, знаешь? — сказал он негромко, но и не тихо. Так, чтобы слышали все вокруг. — По очереди. А Вейры сунули тебя в карман, как мелочь с прилавка. Ну да ладно. Мы люди не гордые. Можно и на вечер взять. — Он протянул руку, без перчатки, и взял её за запястье, через рукав. — Дай-ка посмотрим, правда ли ты такая холодная, как рассказывают. Подержит меня сосудик за ручку?

Пальцы у него были горячие и липкие от вина. И от них вверх по руке ползло то же, что утром в кабинете Торвальда. Чужая рука в кармане. Только грубее, пьянее и не в колодец, а просто по коже.

Крышку Мира захлопнула сразу. С колодцем она уже умела. А вот с отвращением было хуже: его некуда было захлопнуть. Оно поднялось из живота к горлу, густое и мутное, и через связь ушло туда, где его тут же почувствовали.

Стена на связи не дрогнула.

Она рухнула.

Мира даже не успела увидеть, как он пересёк зал. Только что был там, посреди менуэта, с рукой Серафины на плече. А потом оказался рядом, и его пальцы сомкнулись на запястье Морвена. Не сильно. Со стороны казалось, почти вежливо.

Рукав Морвена под его пальцами задымился.

Морвен разжал пальцы так быстро, будто тронул раскалённую сковороду. Бокал в другой руке качнулся, вино плеснуло на паркет.

В зале стало тихо. Музыканты доиграли такт по инерции и замолчали один за другим.

— Она под защитой Дома Вейр, — сказал Кассиан. Не громко. Его голос в этой тишине и так доставал до самых дальних кресел. — Кто трогает её, трогает меня. Кто говорит с ней так, говорит так со мной. Вам это понятно, Ардрик, или повторить помедленнее?

Морвен смотрел на него, и лицо у него было такое же, как на Совете, когда Торвальд спросил его про запах. Серое.

— Шутка, — сказал он наконец и попробовал улыбнуться. Вышло плохо. — Невинная шутка, Вейр. Ты же сам на выпускном сравнивал её с собакой. Вся Коллегия слышала.

Вот тут связь дёрнулась так, что Мира не сразу поняла, чья это боль. Потом поняла. Не её.

— Сравнивал, — сказал Кассиан. — И ошибся. Собака там была не она.

Он отпустил запястье Морвена. На багровом бархате остались четыре рыжие подпалины, по одной от каждого пальца. И музыканты, не дожидаясь знака, вдруг заиграли снова, слишком громко и слишком весело.

Мира стояла и смотрела в спину уходящему Морвену. Запястье у неё горело там, где его держали липкие пальцы. А

внутри было так, будто ей дали пощёчину. Хуже. Пощёчину можно вернуть. А что делать с этим?

Защита Дома Вейр. При всех. При трёхстах рыбках на пуговицах. Теперь она ему должна. Теперь весь зал знает, что она ему должна. С насмешкой она умела драться. С этим не умела.

И ещё кое-что она заметила, потому что замечать было её ремеслом.

Серафина Дэлль стояла посреди паркета, там, где её бросили на полуслове менуэта. Одна. И не выглядела обиженной. Она выглядела так, будто только что узнала цену чего-то, что давно хотела купить. И цена оказалась выше, чем думали.

А в синем кресле у стены сидел Торвальд Вейр и не улыбался вовсе.

Уезжали поздно. Торвальд с секретарём в первой карете. Они во второй. Вдвоём.

Двор Дэллей был вымощен белым камнем и освещён серебряными фонарями так ярко, что на нём можно было бы читать. Кассиан шёл к карете на два шага впереди и не оборачивался. После Морвена он не сказал ей ни слова. Стену на связи он так и не поставил обратно, и Мира всю дорогу через зал слышала его всего.

Злость. На Морвена. На себя. На неё, за то, что ей было противно, а он это почувствовал посреди танца так, будто липкие пальцы держали его самого. И не смог стоять. Вот и

вся его защита Дома Вейр, поняла Мира. Не благородство. Не долг. Просто ему было так же противно, как ей.

От этого было не легче. От этого было только хуже.

Кучер открыл дверцу и опустил подножку. Кассиан подал ей руку, не глядя, как полагается. Она не взяла.

Потому что смотрела вниз.

На ступице заднего колеса, там, где металл входит в дерево, что-то блеснуло в серебряном свете фонаря. Не грязь и не царапина. Линии. Тонкие, свежие, ещё влажные, прорезанные в железе и залитые чем-то тёмным. Круг. В нём три ломаные черты, как трещины на льду, сходящиеся к середине.

Мира знала этот знак. Его не проходили на первом курсе. Его вообще не проходили. О нём только упоминали, вскользь, в списке запрещённых печатей, и преподаватель тогда нарисовал его на доске и тут же стёр рукавом.

«Ломка». Печать, которая ничего не держит. Она ждёт жара. А когда получает, то, на чём она вырезана, разлетается на куски.

А жар для неё сейчас стоял рядом, держал руку на дверце кареты и кипел так, что его было слышно на полдвора.

— Садись, — сказал Кассиан сквозь зубы.

Первая карета, с Торвальдом, уже выезжала за ворота. Четверка вороных во второй нетерпеливо переступала копытами по белому камню. Кучер уже лез на козлы.

Мира подняла на Кассиана глаза. И впервые за весь вечер сама взяла его за руку.

Не за ладонь. За запястье. Крепко, всеми пальцами.

— Не садись, — сказала она. — На колесе ломка. И не злись. Ради всего святого, сейчас не злись.

Он посмотрел вниз. И по связи прошло то, чего она боялась больше всего: не страх, а ярость, белая, вмиг, на того, кто это сделал.

Линии на ступице медленно, одна за другой, засветились синим.

Глава 8

Глава 8. Ломка

Злость нельзя выключить. Мира знала это лучше всех: двадцать лет она пыталась, и ни разу не вышло. Сказать человеку «не злись» в ту секунду, когда его хотели убить, всё равно что сказать падающему «не падай».

Значит, оставалось одно.

Она открыла колодец.

Не так, как учил Гарет, по капле, на счёт, с крышкой наготове. Сразу и до дна. Жар хлынул в неё из его запястья, белый, бешеный, и в первую секунду Мира даже не почувствовала боли. Только звук. Высокий звон в ушах, как от лопнувшей струны в отцовских часах.

Линии на ступице дрогнули. Одна погасла. Вторая.

— Отпусти, — сказал Кассиан. Голос у него был чужой. — Мира. Ты не вытянешь.

— Не мешай.

Третья черта. Круг. Синий свет в железе потускнел, и Мира успела подумать: получилось. Успела даже разозлиться, что сейчас придётся с ним разговаривать.

А потом кучер наверху щёлкнул вожжами.

Он не видел. Он просто устал, хотел домой и не понял, почему господа стоят у дверцы. Четвёрка вороных рванула с места, колесо провернулось на пол-оборота, и то, что ещё тлело в ломке, получило свой толчок.

Мира не помнила, как толкнула Кассиана. Помнила только, что он был тяжёлый и что она упала на него сверху, на белый камень двора. И звук. Будто кто-то со всей силы ударил молотом по наковальне прямо над головой.

Колесо разлетелось.

Куски железа и дерева брызнули во все стороны. Что-то звякнуло о фонарь, и стекло посыпалось им на волосы. Лошади закричали. Мира никогда не слышала, чтобы лошади кричали, и надеялась больше не услышать. Карета завалилась набок, проехала ещё шагов десять, скребя осью по камню, и врезалась в ворота с серебряными рыбами.

Потом стало тихо.

Мира лежала на Кассиане и смотрела, как с фонаря сыплются последние осколки. Один, два, три. Над ухом у неё стучало его сердце, быстро, неровно, совсем не по-лордски.

— Ты цела? — спросил он.

— Да.

Он сел, придерживая её за плечи, и посмотрел вниз.

— Нет, — сказал он.

Только тогда Мира почувствовала. Слева, под рёбрами, будто кто-то провёл раскалённой спицей. Она опустила глаза. В серо-синем шёлке, в чужом платье из кедрового сундука, торчал кусок железа размером с палец. Вокруг него ткань быстро темнела.

— Ой, — сказала Мира. Ничего умнее в голову не пришло.

Она ждала, что он закричит. Позовёт слуг, лекаря, кого-нибудь. Вместо этого Кассиан очень спокойно расстегнул камзол, скомкал полу рубашки и прижал к её боку вокруг железа, не трогая сам осколок.

— Не вынимай, — сказал он. — Держи вот так. Сильнее.

Голос был ровный. А по связи шло такое, от чего у Миры перехватило дыхание сильнее, чем от раны. Страх. Не за себя. Он даже не вспомнил, что если умрёт она, умрёт и он. Она это слышала совершенно отчётливо: о себе он сейчас вообще не думал.

И ещё. Её боль у него слева под рёбрами. Его ладонь, прижатая к её боку, дрожала, потому что ему было больно ровно там же.

— Кассиан, — сказала она. — У тебя руки светятся.

Он посмотрел на свои руки. Синие нити под кожей вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли. Колодец внутри Миры всё ещё был открыт, она не успела его закрыть, и жар тянулся к ней сам, через его ладонь, через рану.

— Закрой, — сказал он сквозь зубы. — Ты сейчас не можешь.

— Могу.

— Мира, закрой, или я тебя отпущу.

Она закрыла. Нашла крышку на ощупь и задвинула. Его руки тут же загорелись ярче, но он не отнял их.

Вокруг уже бегали. Лакеи с рыбками на пуговицах, кто-

то с фонарём, кто-то звал лекаря. Конюх Дэллей повис на уздечке коренного, лошадь билась и хрипела. Кучер Вейров сидел на камнях у перевёрнутой кареты и держался за голову. Живой.

На верхней ступеньке крыльца, в платье цвета луны, стояла Серафина Дэлль. Она не бежала и не кричала. Она смотрела на обломки колеса, потом на Кассиана, потом на Миру. На Мире её взгляд задержался дольше всего.

— Какая неосторожность, — сказала она наконец, достаточно громко, чтобы услышал весь двор. — Вейрам стоит лучше следить за своими каретами.

Кассиан даже не повернул головы.

Лорд Дэлль, круглый, бледный, без всякого румянца, предлагал свою карету, своего лекаря, свои комнаты на ночь. Кассиан выслушал всё и согласился только на карету. Перед тем как посадить в неё Миру, он поставил её у колеса, держа под локоть.

— Посмотри, — сказал он тихо. — Все четыре.

Она посмотрела. Наклонилась, насколько позволял бок, и проверила каждую ступицу, каждую спицу, каждую чеку. Чисто. Обычное железо, обычная смазка, обычная грязь с мостовой.

— Чисто.

— Хорошо.

Пока он укладывал её на сиденье, Мира разжала кулак. Она сама не помнила, когда успела подобрать с камней об-

ломок ступицы. Кусок железа в ладонь величиной, ещё тёплый, и на нём часть круга и одна ломаная черта. Пальцы сомкнулись на нём сами.

Она спрятала обломок в рукав.

В карете Дэллей пахло ванилью и мокрыми собаками. Мира лежала на сиденье, Кассиан сидел на полу между лавками и держал руку у неё на боку. Карету трясло на каждом камне. Мира начала считать камни, сбилась на сороковом и начала снова.

— Зачем ты это сделала? — спросил он где-то на третьей сотне.

— Что?

— Открыла колодец до дна. Гарет тебе сто раз говорил.

— Сто двенадцать, — сказала Мира. — Я считала.

Он не засмеялся. По связи прошло что-то короткое и горячее, похожее на злость, но не на неё.

— Ты могла умереть.

— Тогда и ты бы умер. Так что не льсти себе, лорд Вейр, я спасала свою шкуру.

— Врёшь.

Она открыла глаза. В темноте кареты его лицо было почти не видно, только синие отсветы под кожей на шее.

— Откуда ты знаешь?

— Ты врёшь так же, как я, — сказал он. — Пропущенный тик. Я тоже его слышу.

Мира отвернулась к стенке. Дальше она считала камни молча.

Хальд встретила их во дворе с фонарём в руке, без перчатки на обеих руках. Мира отметила это краем сознания и забыла: было не до того. Экономка взглянула на бок, на Кассиана, на чужую карету, и не задала ни одного вопроса.

— Лекарь спит, — сказала она. — Будить?

— Нет, — ответил Кассиан. — Принесите всё ко мне. То есть к ней.

Хальд посмотрела на него долю секунды дольше, чем следовало. Потом ушла, и ключи на её поясе впервые на памяти Миры звенели на ходу.

Осколок вынимала Хальд. Быстро, без лишних слов, придерживая край раны пальцами в чистой тряпице, чтобы не коснуться кожи. Мира смотрела в балдахин и считала ключи на её поясе. Тридцать восемь. Тридцать восемь. Тридцать восемь.

Кассиан стоял у окна, спиной к ним. Когда железо вышло из раны, он громко втянул воздух сквозь зубы, хотя сам ничего не почувствовал. То есть почувствовал. Мира забыла, что он теперь чувствует всё.

— Неглубоко, — сказала Хальд, накладывая повязку. — До печени не дошло. Шить не буду, стянется. Неделю не поднимать тяжёлого, не бегать по башням и не прыгать на лордов.

Мира открыла рот. Закрыла.

— Это не я на него прыгнула, это меня…

— Конечно, — сказала Хальд и ушла.

Дверь за ней закрылась. Ключи звякнули в коридоре и затихли.

Мира полежала немного. Потом нащупала на одеяле рукав, вытряхнула из него обломок ступицы и поднесла к свече.

— Иди сюда, — сказала она.

Кассиан обернулся.

— Смотри. — Она показала ему черту на железе. — Видишь узел? Вот здесь, где линия поворачивает. Петля заведена против хода часов. Так закрывают узлы только в Коллегии, и только последние три года. Это мастер Ренн придумал, он всем мозги проел, что так экономится полпальца металла. До него все крутили по ходу.

— И что это значит?

— Что ломку резал знаковед. И учился он в Коллегии. Недавно. Может, сидел в соседнем ряду со мной.

Кассиан долго смотрел на железо в её руке.

— Или тот, кто хотел, чтобы мы так подумали, — сказал он.

— Или так, — согласилась Мира.

Она положила обломок на столик у кровати, рядом со свечой. Руки у неё снова начали дрожать. Не от раны. Просто весь вечер они держались, а теперь решили, что можно.

Кассиан осторожно сел на край кровати.

— Ты дрожишь.

— Ты тоже.

— Я выпил корень утром. Один стакан. Больше не успел.

— Значит, мы оба трясёмся по уважительной причине, — сказала Мира. — Очень удобно.

Он не ответил. Взял её руку, правую, со старым шрамом от Совета, и положил к себе на ладонь. Шрам на шрам, как в подвале с медведем. Только Гарета с часами рядом не было.

Колодец внутри неё качнулся. Она не стала его открывать. Просто держала руку.

И тогда по связи, поверх его страха, поверх его боли у себя под рёбрами, медленно поднялось то самое. Тёмное, тяжёлое, о чём она думала в подвале и что видела во сне, пахнущем ржавым гвоздём. Только теперь Мира точно знала, чьё оно. Оно шло к ней. И встречалось с её собственным где-то посередине, так что уже было не разобрать, где заканчивается одно и начинается другое.

— Это клятва, — сказал Кассиан. Он смотрел на их руки. — Связь так работает после страха. Гарет говорил. Всё, что внутри, поднимается разом. Это не…

— Замолчи, — сказала Мира.

Он замолчал.

Она приподнялась на локте. Бок взвыл, и она услышала, как он тихо охнул вместе с ней. Мира почти засмеялась. Нелепость какая: даже поцеловать его нельзя, чтобы ему не

было больно.

Поэтому она поцеловала его медленно.

Губы у него были горячие и сухие, и в первую секунду он не шевелился вообще. Мира успела подумать: всё. Сейчас он встанет, скажет что-нибудь ледяное про пустокровых и уйдёт к себе. И она так и будет лежать с этим обломком на столе и с дурой в голове.

А потом он выдохнул ей в губы, коротко, как человек, который долго держал на весу что-то тяжёлое и наконец опустил. И перестал держать.

Она потом не могла вспомнить, в какой момент перестала считать. Сначала считала: пуговицы на его рубашке, семь, нет, шесть, одна отлетела ещё во дворе Дэллей. Его вдохи. Свои. Потом счёт рассыпался, и собрать его обратно уже не было ни сил, ни желания.

Связь делала всё вдвойне. Это было самое странное. Мира чувствовала его ладонь у себя на бедре и одновременно чувствовала под этой ладонью собственную кожу, тёплую, чужую, такую, какой её чувствовал он. Его осторожность, когда он обходил повязку. Его голод, который он держал за зубами так же, как держал на балу злость. И то, как этот голод отпускал понемногу, потому что она не просила его держать.

— Скажи, если больно, — прошептал он ей в шею.

— Мне больно, — сказала Мира. — Тебе тоже. Не останавливайся.

Жар поднимался в нём, она слышала, как он копится под кожей, как синие нити проступают на плечах. И не боялась. Колодец был рядом, приоткрытый на палец, и жар уходил в неё тонкой ровной струйкой, ровно столько, сколько нужно. Она впервые поняла, о чём говорил Гарет. Это и правда было похоже на ход хороших часов. Ничего лишнего. Ни одного зубца мимо.

Свеча догорела. Мира не заметила когда.

Последнее, что она запомнила, прежде чем уснуть: он лежал рядом, уткнувшись лбом ей в плечо, и дышал медленно и ровно. По связи шло тихое, тёплое, без единой ноты злости. Мира слушала его, как слушают часы в мастерской перед сном.

Тиканье было ровное. Ни одного пропуска.

Утром его не было.

Мира проснулась от того, что солнце било в глаза сквозь щель в шторах. Простыня рядом была холодная. Повязка на боку свежая, затянута аккуратно, туго, в три оборота, с узелком. Тот самый узелок.

Низкая дверь под гобеленом стояла закрытой. Мира смотрела на неё, пока не заслезились глаза. Ночью дверь открылась. Она точно помнила, как он вышел через неё за водой и вернулся. С его стороны. Значит, у него был ключ, и ключ этот он теперь повернул обратно.

Завтрак стоял не на полу. На столе. Поднос, горячая каша,

хлеб, масло и, что совсем странно, маленький кувшинчик с мёдом.

Мира съела всё, включая мёд. Голодать назло было бы глупо. Потом оделась, медленно, придерживая бок, и пошла искать его по связи.

Связь привела её на тренировочный двор.

Кассиан был там один, без Гарета. Рубил столб тупым клинком, удар за ударом, ровно и зло. Услышав её шаги, он не обернулся. Закончил серию, опустил клинок и только тогда повернулся.

Лицо у него было такое же, как на балу у Дэллей. Гладкая стена.

— Как бок? — спросил он.

— Стягивается. Хальд сказала, неделю не прыгать на лордов.

Ничего. Ни тени улыбки.

— Я поговорил с отцом, — сказал он. — Карету осмотрят. Кучера допросили. Дом Вейр сам разберётся, кто это сделал. Тебе об этом думать не нужно.

— Мне не нужно думать о том, кто чуть меня не убил?

— Тебе не нужно думать ни о чём, кроме тренировок.

Мира подождала. Он молчал. Тогда она сказала сама:

— А ночью?

Кассиан посмотрел на клинок у себя в руке.

— Ночью была связь, — сказал он. — После страха она поднимает всё разом. Я тебе говорил. Мы оба были не в себе.

Этого больше не повторится. Я прошу прощения, если… — Он замолчал. — Этого больше не повторится.

Мира слушала его голос и одновременно слушала связь.

Голос был ровный. А в связи, в том тихом ровном ходе, к которому она уже привыкла, что-то пропустило тик. Один. Потом ещё один.

— Конечно, лорд Вейр, — сказала она. — Как скажете.

Она развернулась и ушла, придерживая бок. Сто сорок одна ступенька до северной башни показались ей сегодня очень короткими.

Только наверху, в мастерской, сев на табурет перед верстаком, Мира вспомнила про обломок ступицы. Вернее, вспомнила, что утром его не видела. На столике у кровати стояли огарок свечи и кружка с водой. Больше ничего. Тогда она не обратила внимания, утром было не до столика.

Ночью, после ухода Хальд, Мира сама заперла дверь в коридор на ключ. Утром дверь была заперта. Второй ключ от неё висит на поясе у Хальд, третьего нет.

Значит, утром в её комнату входили только двое. Хальд, у которой тридцать восемь ключей и которая почему-то поставила завтрак на стол, а не на пол. И тот, кто перевязал ей бок и ушёл через дверь без ручки.

Глава 9